

ВАЛЕРИЙ  
БРЮСОВ

*Моисей*



В.Брюсов Моцарт //Эксмо, Москва, 2008

ISBN: 978-5-699-26322-6

FB2: "Chernov2 " <chernov@orel.ru >, 25 November 2008, version 1.0

UUID: 041cb04d-0a81-102c-96f3-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Валерий Яковлевич Брюсов

## **Моцарт** (Проза Валерия Брюсова)

"... Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону: хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени.

Выйдя от Андроновых, Латыгин сел на трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье, на –скую улицу. Там жила Маша, тихая, скромная, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой «Моцарт» сблизился, сам не зная как. ..."

# Содержание

1.....	0005
2.....	0011
3.....	0022
4.....	0032
5.....	0040
6.....	0050
7.....	0066
8.....	0079
9.....	0089
10.....	0100

**Валерий Яковлевич Брюсов**  
**Моцарт**  
*Лирический рассказ в 10*  
*главах*

Где-то на башенных часах не спешно пробило два часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, – вернее, спирта, разбавленного водой, – мысли сплетались бессвязно, путались в какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил два года назад, при своем приезде в Х., да и жил-то недолго, всего несколько недель.

Латыгин остановился и огляделся. Центр города, с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтовыми тротуарами, остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к – скому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная заборами да деревянными двухэтажными домишками, среди которых одиноко высились два-три кирпичных гиганта, бесстильных, яр-

ко выраженного типа «доходных домов». Кругом было пусто: ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно; светилось только одно окошко, в большом доме, почти под крышей: какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек.

Надобно было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же, как не домой? Круто свернув в переулок, почти не освещенный, – тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один, – Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески, те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно.

Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, двадцать пять рублей, и догадывается, что он не

устоял пред искушением – пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова пятьдесят рублей – деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами и, что всего мучительнее, будет права... Да! в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку, а Латыгин действительно проиграл, не все деньги, но все же шесть рублей, и за карты и за вино заплатил два; от 25 осталось 17, да! 17... Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами.

Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота: грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унижительные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота, потом запахивает

их, едва дав пройти, и еще злобно что-то ворчит вслед, нарочно почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина:

*О бедность, бедность,  
Как унижает сердце нам она!*

Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта, вспомнился «Моцарт и Сальери». Соседи, в насмешку, прозвали Латыгина – Моцартом как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде:

*Ты, Моцарт, – бог, и сам того не  
знаешь!*

.....  
*Как некий Херувим,  
Он несколько занес нам песен рай-  
ских...*

.....  
*Что пользы, если Моцарт будет  
жив?*

Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все сознает и рассуждает логично. Но все же было выпито

лишнее; притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка... Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Латыгин задал себе еще вопрос: говорить ли жене о проигранных шести рублях? Завтра, может быть, он получит жалованье за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра – урок; может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш... И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей, он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка.

Прозвучал неприятный, надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна; дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой; небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов: било четверть третьего. Тогда слышались шаги дворника: не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел клю-

чами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латыгин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный; он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотанье и мог разобрать слова:

– Шатаются... тоже... музыканты... Моцарт!

Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для «барских» квартир другого, большего дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье: две крохотных комнатки, третья – темная и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6—7°; если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе Латыгины, – невозможно было удержать тепло в ветхих стенах и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов, снизу. Но квартира была совершенно уединенная, Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их – разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий: «Клубника, малина, черно-смородина!» Это

уединение и заставляло «Моцарта» держаться за свою квартиру: нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех.

Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет: стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и Мина показалась в четырехугольном проеме – тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни: словно картина в раме на фоне белого света... Свет был за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем – укор и вопрос, и потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки:

– Мина, прости, я – виноват.

Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему прой-

ти, затворила и заперла дверь, потом пошла за ним, с лампой в руке, когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо:

– Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?

Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо:

– Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову, не играть, так посидеть, и засиделся, упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали. Только я очень устал, я лягу, да и ты ложись, напрасно ждала меня.

Мина, все молча, продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только:

– Ах, Родион! Ах, Родион!

Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина, вне себя, бросала в мужа графин, пресс-папье, что попадало

под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинения обвинениями. Тогда они говорили друг другу жестокие слова, которые после стыдно было вспомнить. Но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин признавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он признавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая двенадцать лет переносила с ним все неудачи и беды его тревожной жизни, заливала его душу, в то же время так же беспредельно ему было жаль и себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь в этой убогой комнате, ночью, после грубой попойки в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой.

Мина все рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней «темненькой» комнатке, а Латыгин стал перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдания:

– Милая! Мина! Миночка! Ну, прости меня! Я – негодяй. Я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня, а я ушел пьянствовать

вместе с какими-то чиновниками, писцами, телеграфистами. Но пойми! Работаешь дни, недели, месяцы. Наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз позволить себе что-нибудь! Ведь ты же понимаешь! Неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не об чем. Но надо хоть на час забыться, вот — выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но конечно, конечно! Этого не должно быть, этого больше не будет, никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять: это только чтобы забыться, на один час забыться, только!

Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала:

— А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?

Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой, а сам он думал: «В самом деле! Мы оба несчастны. Мы могли бы понять друг друга! Почему же мы никогда не говорим откровенно»

но? Почему, вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене – и мы вместе плакали бы, и, может быть, было бы нам обоим так хорошо! Ведь, правда, она очень несчастна, очень...»

Между тем рыдания Мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном:

– Говори: сколько растранижил?

Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опять он почувствовал себя чужим с этой женщиной. Но, сдержав себя, ответил кротко:

– Я не играл, Мина, совсем не играл (это была ложь). Я только заплатил за вино, несколько рублей всего, рубля два, три...

Мина всплеснула руками.

– Три рубля! А у Лизочки башмаки в дырах. В гимназию ходить стыдно.

С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль, – о бедность, бедность, как унижает сердце нам она... «Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь!» В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за

ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. «Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от 20 числа до 20-го! Моя истинная жена – не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я!» И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена; он готов был встретить все ее упреки спокойным презрением.

Но порыв Мины прошел. Он был создан нервным напряжением всего дня, утренним приключением с соседями, мучительным ожиданием мужа, невеселыми одинокими думами об их положении. Обратив внимание на мужа, Мина увидела, как он бледен, как дрожат его руки. В свою очередь ей стало невыносимо жаль его, и она тоже стала просить прощения.

– Прости меня, Родион! Я не хотела обидеть тебя. Деньги – твои, ты их зарабатываешь. Но нам этот год так тяжело живется! И потом, что я без тебя пережила! Соседи узнали, что я – немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить. А я

была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая ж я немка! Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? Да и куда мы отсюда пойдём? Осень, все квартиры заняты. И не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала, тебя ждала, а ты не идешь...

Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы; она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо. Родиону вспомнилась неволью Мина такой, какой была тринадцать лет тому назад, когда он с ней познакомился: скромной, робкой, запуганной девушкой, тоненькой-тоненькой, как былинка, с гладко зачесанными белокурыми волосами Гретхен, с глазами всегда не то изумленными, не то испуганными. Вспомнились первые свидания, в Москве, в Сокольниках, день, темнеющий между красных сосен, и та скамейка, на которой он, Родион, тогда еще юноша, ученик консерватории, впервые обнял и поцеловал Мину и сказал ей, что любит ее. Какая она была тогда маленькая, словно вся исчезла в

его объятиях, как птичка в зажавшей ее руке. Впрочем, не такая ли маленькая она и теперь, не та же ли перед ним девочка Мина, несмотря на эти двенадцать лет, и их дочь Лизочку, и все, что было пережито потом!

Еще раз чувства Латыгина изменились. Он подошел к постели, сел рядом с Миной, обнял ее. Не так ли они сидели в тот лунный вечер на скамейке в Сокольниках? Что годы, если в душе все та же любовь и та же радость сжимать это хрупкое, маленькое тело? Мина прошептала тихо, словно делая последнее усилие:

– Ложись, Родя! Скоро – три часа. Завтра у тебя урок. Надо тебе выспаться.

Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы «та» Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, к которому у Мины всегда была слабость, которую она никак не могла преодолеть, и это почему-то ему казалось бесконечно трогательным и прекрасным. Было ли то влиянье выпитого

вина, но уже все рисовалось Латыгину как нежная сказка, красивая мелодия. Он ближе наклонился к лицу Мины.

– И ты ложись, моя девочка, – шептал он, – ты устала, бедная, я замучил тебя сегодня. Но я тебя люблю очень, всегда люблю, и ты не верь другому. Ты – моя Мина, Миночка, милая, маленькая...

Он расстегивал пуговицы ее платья, словно они были любовники, а не муж и жена, двенадцать лет ложившиеся спать в одной комнате. Вид худенького, изможденного тела жены вызвал новый порыв жалости и нежности. Латыгин опять стал на колени и целовал жену в грудь и плечи. А она, стыдясь как девушка, стыдясь всего больше неожиданных ласк, от которых так отвыкла за последние годы, сопротивлялась и торопилась сама снять кофточку, юбку, башмаки.

– Я люблю тебя, Мина, – повторял Латыгин.

– Тише, тише, Лизочка услышит, – останавливала жена.

Она покраснела, гася лампу.

Стало темно в маленькой комнатке, почти сплошь заставленной двумя кроватями и

большим, странным комодом. Было тихо за окнами и тихо в доме; только часы в столовой как-то хрипло стучали, качая свой маятник, два голоса, подавленные до последнего шепота, еще говорили что-то. И, заглушая поцелуями, чтобы не разбудить дочь, двое любовников – муж и жена, прижимались друг к другу на узкой постели. И каждый из них был счастлив в эту минуту – тем избыточным счастьем, которое приходит после слез и волнения. Хотелось не думать ни об чем ином, все забыть, чтобы живым, истинным было вот только это мгновение, этот поцелуй в черной темноте.

На другой день Латыгин, как всегда, проспнулся часов в восемь. Он чувствовал себя свежим и бодрым; от вчерашнего хмеля не оставалось следа. Как что-то чужое, вспоминались и вчерашние волнения и мысли. Жена уже встала и хлопотала на кухне; слышно было, как она стучала посудой.

Быстро одевшись, Латыгин также прошел в кухню, так как умывались там. Он увидел жену, полуодетую, непричесанную, и она показалась ему бесконечно далекой от той девочки – Мины, которая пригрезилась ему ночью. Опять перед ним была женщина преждевременно состарившаяся, с морщинками у глаз, с красными руками, загрубевшими от стряпни и другой домашней работы. Первые же слова, которые Мина произнесла, как бы оцарапали душу Латыгина, что-то грубое, вульгарное послышалось ему в них.

– Ну как спал, мой пьянчужка? Каким ты, однако, еще можешь быть с женщинами! Когда захочешь, конечно...

Мина это произнесла ласково. Она еще бы-

ла полна порывом нежности, и ей хотелось сказать что-нибудь приятное, льстивое мужу. Но он душевно весь как-то сжался. «Зачем она это? – подумал он с болью. – Не надо, не надо было этого говорить! И напоминать было не нужно!» Чтобы не поддаться враждебному чувству к жене, Латыгин спросил ее:

– Лизанька еще спит?

– Только что разбудила: пора в гимназию собираться.

Мина варила кофе; Латыгин умывался. Ему хотелось бы сказать что-нибудь жене, но было нечего. Он испытывал вновь великую отчужденность от нее. Мелькнула даже мысль: «Пожалуй, и сегодня охотно я ушел бы опять к тому же Карпову...» Стекала вода, шумел кофейник, но двое, бывшие в комнате, молчали.

– Ну, идем пить кофе, – позвала Мина.

За столом стало еще мучительнее. При всех усилиях Латыгин так и не мог найти ни слова, чтобы сказать жене. «Заговорить разве о деньгах? – подумал он. – Ведь нужны на расход и платить надо лавочнику... Нет, еще нестерпимее будет!» Он молчал и пил горя-

чий напиток. По счастью, вошла дочь.

Лизе было одиннадцать лет. Она была похожа на мать, какой та была в юности, маленькая, хрупкая. У нее были голубые глаза и белокурые волосы. Но, как у всех детей, живущих в нужде, выражение лица было серьезным, не по-детски строгим. Латыгин любил дочь, не всегда, но по большей части, и сейчас обрадовался ей очень.

– Здравствуй, папочка!

– Здравствуй, милая девочка.

Он поцеловал Лизу в щеку, и вдруг ему стало легко и тотчас вспомнилось, об чем надо было рассказать жене.

– Ах, да! Знаешь, Мина, – заговорил Латыгин почти весело, – ведь я вчера недаром побывал у Карпова. Вчера только мне этого тебе рассказывать не хотелось, чтобы не оправдывать себя. Потому что пошел-то я, не зная, что это так случится, у Карпова был Меркинсон, знаешь, виолончелист. И он опять предлагал мне место в оркестре, – первой скрипки; сам заговорил. Я ответил, что подумаю, но решил принять.

– Ты? в оркестр! – с упреком переспросила

жена.

– Да, я долго отказывался, но вижу, что жизнь не переспоришь. По крайней мере, будет обеспеченное жалованье. А теперь ведь мы каждый день висим на волоске. Вздумается завтра Андроновой прекратить уроки, вот мы сразу лишимся половины наших доходов. Довольно! Я отказываюсь от всех моих грез и иллюзий! Пора трезво смотреть на вещи.

– Папочка, – тихо сказала Лиза, – не надо так говорить. Подожди, тебя все оценят.

– Ах, Лиза! – воскликнул отец, говоря с 11-летней девочкой, как со взрослой, – я ждал, вот пятнадцать лет, как я жду! У меня уже седые волосы, а ничего не изменилось! Исполнялись мои вещи в концертах, я сам играл свое перед избранной публикой, в Москве, в Петрограде, и ничего не изменилось! Да, есть такие, которые меня поняли; и писали обо мне, в газетах, очень лестные статьи, а все же – кто меня знает? Многие ли слышали о композиторе Латыгине? Может быть, лет через пятьдесят меня оценят. А пока что надо об этом не мечтать, а покориться тому, что есть.

– Папочка! – попросила Лиза, – сыграй мне

что-нибудь перед тем, как мне уходить.

Девочка не могла доставить большей радости отцу, как попросить его сыграть. Латыгин послушно достал скрипку, подтянул струны, провел несколько раз смычком; потом спросил с улыбкой:

– Что же тебе сыграть?

– Колыбельную, папочка.

– Нет, девочка, это – старое. Так я писал двенадцать лет тому назад, с тех пор я многому научился. Нет, я сыграю свою «Пляску медуз». Ты знаешь, что такое медузы? да? Так вот представь себе, что они собрались на бал и хотят танцевать, – в море, конечно. Вода кругом светится, – бывает такое свечение моря, – на небе звезды и луна, в глубине проплывают большие рыбы, акулы, например, а на поверхности, на глади волн, потому что нет ветра, пляшут хороводами медузы. Слушай.

Латыгин заиграл...

Жена и дочь были плохие критики. Они мало смыслили в музыке, но им казалось, что «Моцарт» играет что-то чудесное. И ему самому казалось, что он создал шедевр, равного

которому нет в современной музыке. В «Пляске» была как будто вся строгость старой школы, но в условные формы влита дерзновенность новых звукосочетаний. Мелодия была гениально проста, но найдена впервые с сотворения мира и окружена всей роскошью современной гармонизации. Это было классическое создание, которое нельзя забыть, услышав его однажды... Так казалось Латыгину, когда он играл.

Играя, он упивался своими звуками; видел фосфорический свет воды, мерцание созвездий в небе, медленно проплывающих акул, скатов, стаями собравшихся маленьких рыбешек, и пляску студенистых медуз, составивших хороводы; чувствовал соленый запах моря, веянье южной ночи, радость безбрежного простора; угадывал, где-то вдалеке, тихо поднимающийся над горизонтом силуэт огромного океанского стимера; в звуках было это все, и больше, больше, безмерно больше того!

– Милочка, тебе пора в гимназию, – поспешно сказала мать, едва Латыгин остановился, а звуки последнего аккорда еще зами-

рали.

«Моцарт» вздрогнул. Его вернули к действительности, к этой бедной, почти нищенской обстановке, к стакану остывшего кофе, к лишним пяти рублям, истраченным вчера. Он положил скрипку молча, но Мина поняла его чувство.

– Прости, Родя, – сказала она, – но иначе девочка опоздает.

– Спасибо, папочка, спасибо! – говорила Лиза, обнимая отца, – это дивно хорошо!

Мать заготовила ей завтрак, завернутый в бумагу, принесла книги и тетради, осмотрела платье.

– Уроки знаешь?

– Знаю, мама, все знаю; сегодня легкий день: закон божий, русский, география...

– Ну, ступай.

– До свидания, папочка!

Мать с дочерью вышли из комнаты. Латыгин сидел один, задумавшись. Неужели можно не понимать красоты его композиции? Так просто, так чисто, так певуче, так трогательно и так величаво! «Или я безумец, – думал „Моцарт“, – или все люди лишены слуха. По-

чему я понимаю красоту Бетховена, стариков, и красоту новых, и Дебюсси, и Скрябина, и Стравинского, и вижу, ясно вижу, красоту своих сочинений? А другие в моей музыке ничего не видят, говорят, что я то подражаю, то нарушаю законы! Ведь это же неправда! Ведь есть же у меня слух: иначе я не понимал бы Бетховена!»

Латыгин опять было взялся за скрипку, но вернулась жена.

– Тебе тоже пора, Родя! – осторожно напомнила она.

– Да, да! Я сейчас иду: урок половина десятого.

Латыгин встал; ему захотелось поскорей уйти из дому.

– С урока ты прямо домой?

– Нет, я должен зайти к Меркинсону. Будь что будет, я решил взять место в оркестре.

– Ты совсем обдумал это дело?

Мина спрашивала робко; в душе она считала, что Родион давно должен был принять приглашение в оркестр, но знала, что играть в оркестре Латыгину казалось унижением. Он ответил грубо, отрезал:

– Обдумал совсем!

«Боится, что я передумаю!» – злобно подумал он. Потом все же захотелось сказать жене что-нибудь приветливое на прощание: так испуганно взглянула она при резких словах.

– А ты не утомляй себя, не хлопочи там об обеде. Мы поедем, что найдется, и все будет хорошо. Да! тебе нужны деньги?

– Нужны, – тихо проговорила жена.

Одно мгновение Латыгин хотел отдать все, что у него было. Но тогда жена увидела бы, что он истратил больше, чем сказал ей. Торопливо он вынул десятирублевку и подал Мине; знал, что этого мало, и, чтобы прервать разговор, спросил еще:

– А ты пойдешь куда-нибудь?

– Я пойду к Дьяконовым, они мне говорили про квартиру, знаешь, Родя, нам здесь нельзя оставаться, я при Лизочке не хотела говорить, но вот ты уходишь, а если опять...

Она говорила быстро, видела, что муж хочет уклониться от обсуждения вопроса о квартире, и спешила все высказать. Но Латыгину вдруг стало нестерпимо – разбираться во всех этих мелочах, высчитывать, хватит ли

денег на переезд, разбирать сравнительные достоинства разных убогих помещений, которые можно снять... Нет, нет! Когда-нибудь после, не сейчас.

– Милая! Ты прости, но ведь я опоздаю. Не бойся, ничего не случится, сегодня все заняты. Да, я все-таки скоро приду.

Говоря, Латыгин торопливо, захватив скрипку, прошел в кухню, надел пальто, привычным движением поцеловал жену где-то около глаз и почти выбежал на лестницу. Мина осталась одна, горестно глядя на десятирублевую бумажку в своей руке. Потом, словно обессилив, Мина опустилась на стул около плиты и заплакала тихими, тягучими слезами, всхлипывая и не отирая глаз.

Андроновы жили в лучшей части города, и Латыгину пришлось пройти порядочное расстояние, пока он дошел до пышного подъезда их особняка. Как всегда, последовала тягостная сцена в вестибюле, где важный швейцар прислуживал музыканту как бы нехотя и умел в свою выученную почтительность вложить все свое пренебрежение к учителю в потертом пальто. Небрежно, не положив, а «ткнув» шляпу «Моцарта» на полку, швейцар заложил руки за спину и произнес шепотом, в котором ощущалась затаенная насмешка:

– Барыня сказали вам сначала пройти к ним-с, в гостиную.

– А, хорошо.

Латыгин больно почувствовал это «сказали»: лакей все же не отважился произнести: «приказали», но и не хотел говорить: «просили». Стараясь идти неторопливо, Латыгин поднялся по лестнице, уставленной засушенными пальмами, миновал приемную с огромными альбомами на столах и безвкусными картинами в золотых рамах и прошел в го-

стиную, где каждая подробность обстановки кричала о богатстве хозяев. С такой наглостью выставляют напоказ свое состояние только в провинции; в столицах сами мебельщики и драпировщики умеют смягчать грубость денежной гордости.

Андроновой в гостиной не было, и Латыгин должен был дожидаться сравнительно долго; не желая садиться без приглашения, он делал вид, что рассматривает знакомые ему картины: какие-то пошлые пейзажи, купленные, вероятно, за дорогую цену. В своей нервной подозрительности он уже готов был считать промедление хозяйки за новое оскорбление, и у него мелькала мысль – уйти, когда Андропова, наконец, вошла. Полная, с вульгарным лицом, она, несмотря на ранний час, была в каком-то дорогом утреннем платье и с бриллиантовым кулоном на груди.

– Bonjour, monsieur Latiguine.

Здороваясь, Андропова улыбалась не то приветливо, не то милостиво, но французский язык должен был намекнуть, что она привыкла иметь дело с учителями-иностранцами. Впрочем, по-французски объяснялась

она вовсе не свободно и потому, пригласив Латыгина сесть, тотчас перешла на родной язык.

Говоря и намеренно растягивая слова, она прищуривалась: должно быть, переняла такую манеру у какой-нибудь близорукой дамы в Москве или Петрограде.

– Я хотела с вами переговорить, *monsieur Laliguine*, а *propos de Nadine*. Я, конечно, сама не играю на скрипке, но я играю на фортепиано, мой профессор был *maestro* Джусти, вы знаете, знаменитый? Так вот, я хотела с вами переговорить, что мне кажется, что вы слишком медленно ведете *Nadine*. Вы знаете, *Sophie Пузырева*, которая начала учиться только три месяца тому назад, – ей дает уроки *maestro* Вельчевский из Варшавы, – уже приступила к третьей позиции, а вы держите *Nadine* все на первой. Неужели моя дочь неспособна идти вровень с другими? Между тем все, кто ее слышали, восхищаются ее талантом: *monsieur Кузминский*, *madame Арская* из оперы, вы знаете...

Следовал длинный перечень лиц, восхищавшихся талантом Надины и находивших у

нее дарование скрипачки. Латыгин слушал, сжав зубы. Что он мог ответить? Что эта Nadine – бездарна, как только может быть бездарна тупая и избалованная девчонка, что у нее нет слуха, что она не учит уроков, не исполняет ни одного требования учителя? Но тогда зачем он, Латыгин, продолжает уроки, не отказался давно сам! Сделав кое-какие слабые возражения, он сказал покорно:

– Как вам угодно, я, конечно, могу показать mademoiselle Nadine вторую и третью позицию, но будет ли это полезно для нее?

– Monsieur Latiguine, – с достоинством возразила Андропова, – я и не считаю себя вправе указывать Вам, как должно учить. Но у Nadine такие способности! В ваших руках такой благодарный материал! И если Nadine не делает таких успехов, как того можно желать, так это значит, что между учителем и ученицей не установилась, pour ainsi dire[1], художественная связь, вы понимаете?

«То есть это значит, вы можете обратиться ко всем чертям! – злобно подумал Латыгин, – и вот наши доходы сократятся сразу на 60 р. в месяц, т.е. более, чем наполовину. Нет, все

равно, стерплю все, а если угодно, отказывайте мне сами!»

Он почтительно сказал Андроной, что, ввиду ее желаний, ускорит прохождение курса и, с своей стороны, надеется, что mademoiselle приложит свои старания.

– Вы знаете, Nadine несколько ленива, – самодовольно ответила Андронова, – но ведь все талантливые люди ленивы.

На этом афоризме хозяйка поднялась; Латыгин, конечно, тоже встал.

– Ах, да! – добавила Андронова, доставая из серебряного ридикюля конверт, – это ваше жалованье за истекший месяц. Срок, собственно, завтра, но, может быть, вам нужно...

«Жалованье», «срок, собственно, завтра», «вам нужно» – все эти слова были мучительны, и все же, кладя 60 р. в карман, Латыгин вдруг почувствовал прилив и бодрости и самоуверенности. Он с достоинством поклонился Андроной и пошел в соседнюю комнату, «первую залу», где обычно занимался с Надин. «Ну, деньги есть! – думал „Моцарт“, – еще поборемся с жизнью!»

Надин также заставила себя ждать, нако-

нец, вышла с капризным выражением лица. Ей было лет 15, она была недурна собой, но держалась с подчеркнутой небрежностью, по-1 .

казывая, что не стоит быть интересной для какого-то музыканта.

– У меня вчера болела голова, – заявила она, – я не могла приготовить вашего урока.

– Что же делать, – кротко возразил музыкант, – будем разучивать пьесу вместе. Но обращаю ваше внимание, что ваша матушка желает, чтобы мы шли вперед более быстрым темпом.

Надин демонстративно пожала плечами. Начался урок. Это была почти пытка для Латыгина. Надин почти ни одной ноты не брала правильно; смычок не держался в ее руках; то и дело она без надобности начинала подвертывать струны.

Потеряв самообладание, Латыгин спросил резко:

– Mademoiselle, если бы я был учителем живописи, стали бы вы кистью тыкать мне в глаза?

Nadine явно оскорбилась и тоном вопроса

и грубым словом «тыкать»; она переспросила надменно:

– Что вам угодно этим сказать, monsieur Латыгин?

– А то, что каждый фальшивый звук, который вам угодно производить, вонзается мне в ухо совершенно так же, как если бы вы ударили меня смычком.

Девочка посмотрела еще надменнее, как редко умеют смотреть в пятнадцать лет:

– Если вам так тягостно заниматься со мной, мы можем прекратить уроки.

– Я только прошу вас пощадить мои уши, – поспешил поправиться Латыгин.

Надин сжала губы и ничего не отвечала; лицо ее стало злым. Урок был закончен кое-как. Латыгин уже не решался делать замечаний своей ученице.

– Я попрошу вас к следующему разу приготовить эту пьесу, – сказал он, вставая.

Надин, не отвечая, кивнув головой, вместо поклона, повернулась и вышла из комнаты.

«Кажется, должно проститься с 60 рублями в месяц», – думал «Моцарт», укладывая свою скрипку, но в душе было не огорчение, даже

не досада, а ТОЛЬКО ЗЛОСТЬ.

Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону: хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени.

Выйдя от Андроновых, Латыгин сел на трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье, на – скую улицу. Там жила Маша, тихая, скромная, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой «Моцарт» сблизился, сам не зная как.

Впервые Маша увидела Латыгина больше года назад, когда он выступал на одном благотворительном концерте. Музыка была ее страстью; игра «Моцарта» растрогала ее до рыданий. Случайно оказался общий знакомый; смеясь он провел Машу в «артистическую» и представил скрипачу. Наивный восторг девушки польстил Латыгину; он с ней обошелся приветливо, запомнил ее. Потом они случайно встретились на улице (а может быть, Маша просто поджидала его), и он зашел в скромную комнату телеграфистки. После мелких, мучительных подробностей до-

машней жизни показалось так хорошо сидеть вдвоем с милой, пугливой девушкой, которая ловит каждое слово, как откровение. Латыгин обещал «заходить».

Следующий раз он принес с собой скрипку. Маша слушала его игру с воспламененными глазами, опять разрыдалась и стала целовать руки композитора... Сама Маша не играла ни на каком инструменте, не было у нее и голоса, чтобы петь, но музыка приводила ее в экстаз; сочинения Латыгина она готова была слушать много раз подряд и всегда с неизменным волнением. У «Моцарта» не много было слушателей, и он стал приходить к телеграфистке все чаще и чаще.

Потом все произошло так, как должно было произойти; Латыгину осталось только спросить: «Ты меня любишь?» – и Маша не поколебалась ни на минуту ответить: «Люблю». Впрочем, Латыгин ничего не скрыл от нее: сказал ей, что женат, что любит свою жену и дочь и не покинет их. Но Маша ничего не просила: она хотела лишь любви. Соблазн был слишком силен: девушка молодая, милостивая, боготворившая Латыгина как гени-

ального композитора, отдавала ему себя, свою любовь, свою невинность, – ибо она сумела остаться девушкой в суровых условиях трудовой жизни, – и ничего не искала взамен, ни денег, ни огласки. Латыгин все же поколебался: он боялся, что Маша передумает, начнет требовать, ждать чего-то; но потом взял этот дар судьбы, как, поколебавшись, можно в знойный день сорвать яблоко в чужом саду.

Сначала Латыгин был даже немного увлечен Машей. Она была молода, любила глубоко, скоро научилась отдаваться со страстью. Одно время Латыгин чуть не каждый день выбирал час, чтобы зайти к Маше. Он ей играл и свои сочинения и вещи своих любимых композиторов; она плакала, слушая; после они опускали занавески на окнах и с соблазнительным бесстыдством кидались на постель... Но уже месяца через три о связи «Модарта» с телеграфисткой как-то прознали соседи; дошли слухи и до Мины. Последовали тягостные семейные сцены; видеться с Машей стало для Латыгина труднее. Да и наступило неизбежное охлаждение чувства. Он стал приходить реже: дня через два, раз в

неделю, раз в десять дней... Но все же приходил, потому что хотелось уйти куда-нибудь от многого, что окружало дома.

Маша покорно сносила холодность своего возлюбленного; если жаловалась и плакала, то редко и тихо. Но зато любовь ее все более переходила в жадную страсть. Теперь, когда Латыгин приносил с собой скрипку и играл, Маша боязливо-просительным взором следила за его рукой и терпеливо ждала мгновения, когда можно будет побежать к окнам и опустить занавески. Впрочем, она по-прежнему плакала над музыкой, но плакала как-то торопливо, чтобы не потерять нескольких минут ласк. Отмечая это, Латыгин чувствовал отвращение и тоску, и ему становилась ненавистной эта девушка, с ее слезами, с ее ненасытностью в наслаждениях, с ее обмороками после горячки ласк. Порой Латыгину хотелось избить Машу, когда она, в порыве сладострастного экстаза, целовала его ноги, называя его гением и богом музыки.

Сидя в трамвае, по пути к Маше, Латыгин сосчитал, что не был у нее уже 15 дней. Впрочем, за это время он послал ей письмо, всего в

несколько строк, где писал, что болен (то была ложь), и назначал день, когда придет: тот самый, в который теперь и ехал к ней, один из ее «свободных» дней, когда она не была занята на телеграфе. В воображении Латыгина предстала бедная комнатка Маши, с дешевыми картинками по стенам и с большой кроватью за занавеской. «Неужели сегодня постель будет сделана и подушки по-особому взбиты, сейчас, в 11 часов утра?» – подумал Латыгин. Ему стало неприятно от этой мысли.

Надо было сходить; трамвай поворачивал в сторону, и до дому, где жила Маша, оставалось пройти еще пол-улицы. Латыгин шел медленно, раздумывая, не вернуться ли. У подъезда дома чувство томления еще усилилось. Преодолев себя, Латыгин поднялся на четвертый этаж, позвонил. Маша снимала «комнату от жильцов», и дверь отперла грязная, подоткнутая кухарка. Но уже на пороге своей комнаты, выходявшей прямо в прихожую, стояла Маша.

– Родя, ты? Милый!

Маша охватила его плечи обеими руками и тут же в передней прильнула губами к его

губам.

– Постой, что это! – недовольно говорил Латыгин, высвобождаясь, – ведь мы не одни.

Но подоткнутая кухарка, не обращая никакого внимания на целующихся, пренебрежительно уходила к себе, а Маша повлекла Латыгина в свою комнату.

– Пусть увидят, а я не могу! Почему ты так долго не приходил! Сам виноват, гадкий! Две недели не видала тебя!

В комнате Маши все было по-старому: те же убогие картинки на стенах, десяток все тех же книг на полке – чувствительные романы (да книга Фореля о половом вопросе), – две терракотовые головки на комодe и, за ситцевой занавеской, кровать с высоко взбитыми подушками и приоткрытым одеялом. Латыгину вдруг сделалось тоскливо до нестерпимости; Маша показалась ему некрасивой, вульгарной; глаза невольно возвращались к этой сделанной постели, которую он уже видел в воображении. Маша что-то говорила быстро-быстро, продолжая целовать Латыгина, беря у него из рук скрипку, снимая с него пальто, но Латыгин не мог найти в ответ ни слова.

Наконец, он сел, закурил папиросу (развлечение, которое редко позволял себе) и, чтобы как-нибудь выйти из тягостного положения, предложил:

– Я сыграю тебе свою новую вещь: написал за эти две недели.

Маша взглянула было испуганно и тотчас улыбнулась радостно. Латыгин про себя перевел это так: «Уверена, что игра – это прелюдия к опусканию штор». Ему стало еще досадливее, но все же он вынул скрипку и, сухо назвав: «Пляска медуз», заиграл.

Латыгин сознавал, что играет плохо; утреннего увлечения не было: звуки рождались мертвыми; море не светило, и медузы вели хороводы лениво, нехотя, словно по приказу. Однако Маша, как всегда, разволновалась; глаза ее стали влажными, она вся вытягивалась, слушая, и под конец начала дрожать всеми членами, почти как перед припадком. Латыгин в последний раз провел смычком по струнам и опустил скрипку; ему был противен восторг Маши, смотревшей на него восторженным взором.

– Родя! Это – божественно! Это – необычно-

венно! – проговорила, наконец, Маша с каким-то страдальческим умилением. – Лучшего ты еще не создавал. Ты – мой бог!

«Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь...» – вспомнилось Латыгину, но восхищение Маши не трогало его. Она же, став перед ним на колени, смотрела снизу влюбленными глазами в его глаза и продолжала твердить восторженные слова: «Ты – победитель, ты – выше всех, ты – царь музыки!» Потом Маша припала к нему всем телом, ласкаясь, стараясь поцеловать его грудь, его шею.

Латыгин хорошо знал, к чему ведут эти приемы, и ему опять стало тоскливо и скучно. Глаза опять пробежали по приготовленной постели. Показалось невыносимым совершить весь обряд любви, притворяться счастливым, когда в душе – злоба и уныние. Он вдруг встал, отстранил девушку, сказав:

– Ты не сердись. Мне сейчас надо уйти. Я пришел только потому, что обещал и чтобы сыграть тебе свою «Пляску». Видишь ли: это – очень важно, я поступаю в театр, и вот сейчас у меня деловое свидание.

Маша осталась на коленях, на полу; ее гла-

за вновь наполнились слезами, руки безвольно повисли; минуту она не могла ничего выговорить, потом прошептала покорно:

– Ты уйдешь? Ведь мы две недели не видались.

Латыгину стало жаль Машу, жаль по-настоящему; она ему показалась такой нежной и милой, и ее покорность побеждала в нем все другие чувства. Но тотчас он подумал, что лучше унести с собой этот образ, чем исказить его, поддавшись состраданию. Подняв Машу с колен, Латыгин ее любовно обнял, поцеловал в губы и постарался утешить.

– Девочка моя, мне правда необходимо уйти. Но я приду послезавтра, ведь ты – свободна? Приду надолго, на весь день. Я тоже очень, очень соскучился без тебя. Ну, прости меня, поцелуй.

Но он видел, что губы Маши дрожат и по лицу пробегают легкие судороги. Латыгин уже убедился, что это – признаки начинающегося нервного припадка. Надо было поторопиться и уйти раньше, чем он начнется: иначе придется целый час, а может быть, и больше успокаивать рыдающую девушку. По-

спешно, делая вид, что ему крайне некогда, Латыгин еще раз расцеловал Машу, надел пальто, взял скрипку и, прощаясь, повторил обещание прийти через день.

Маша, видимо, делала отчаянные усилия, чтобы сдержать себя. Губы ее кривились, плечи содрогались. «Без меня она будет биться в припадке, и будет одна, совсем одна!»— в тоске подумал Латыгин. Но остаться была страшно. Он почти побежал к выходной двери. Маша, совсем бледная, сняла дверной крючок; Латыгин в последний раз поцеловал ее руку и вышел. Ему было слышно, как Маша заперла дверь и пошла к себе. Потом послышался стук от падения тела: должно быть, девушка упала на пол в истерическом припадке.

Мгновение Латыгин колебался, не вернуться ли; потом стремительно побежал вниз по лестнице; на улице он вздохнул полной грудью, словно освободившись от кошмара.

У Латыгина оставалось еще одно дело, которое он тоже желал скрыть от жены: надо было зайти на почту и получить письма от Адочки, которая писала ему на условные литеры до востребования.

С Адочкой Латыгин познакомился больше двух лет тому назад, в последнее счастливое лето своей жизни. Он был тогда приглашен в товарищество «Черный Лебедь», совершавшее артистическое турне по провинции. Организован был небольшой оркестр; из его же состава выделилось трио и квартет; некоторые выступали солистами; принимали участие в поездке еще две певицы и певец, с небольшим, но приятным тенором. Репертуар был составлен преимущественно из вещей новых, в провинции мало известных, но уже прославленных молвой, в том числе Рихарда Штрауса, Дебюсси, Фора, молодых русских композиторов, и афиши составлялись боевые. Турне удалось, как редко удаются такие поездки, и на долю каждого участника, при конечном дележе сбора, досталось по несколько

сот рублей, а главным солистам – до двух тысяч.

Латыгин играл в оркестре первую скрипку, но участвовал также в квартете и выступал солистом, исполняя собственные произведения. В некоторых городах, притом больших, Латыгин и его музыка очень понравились публике: были вызовы, овации, подносились цветы, газетные рецензенты писали о «восходящей звезде». Был момент, когда Латыгину казалось, что это – правда, что судьба, наконец, благосклонно улыбнулась и что теперь начнется быстрое восхождение по лестнице славы. Но турне кончилось, «Черный Лебедь» распался, и все как-то позабыли, что еще недавно расточали похвалы скрипачу и композитору Родиону Латыгину.

Особенный успех на долю Латыгина выпал в Одессе, хотя царица Черноморья слышала и лучших виртуозов Европы. «Черный Лебедь» устроил в этом городе четыре концерта, и на каждом из них Латыгин был предметом оваций; ему столько аплодировали и так много заставляли играть *bis*, что это возбудило даже зависть товарищей. Все же благодаря этому

успеху и прекрасным сборам, товарищество в Одессе задержалось, и Латыгин был этому рад, так как в городе встретило его неожиданное приключение.

На первом же концерте, когда Латыгин отдыхал после шумного успеха своего solo, ему представили молодую девушку, Аду Константиновну Нериоти, которая непременно желала сама выразить свой восторг скрипачу и поднести ему букет цветов. Аде было лет 18–19, но она, хотя на вид была даже моложе своих лет, держала себя с редкой самостоятельностью и некоторой эксцентричностью. При первом же знакомстве она выразила желание приехать к Латыгину, чтобы он сыграл что-нибудь для нее одной. Девушка просила об этом с такой самоуверенностью, словно об отказе не могло быть и речи. А Латыгину, опьяненному успехом, все представлялось в то время естественным, и то, что им так восхищаются, и то, что девушка из хорошей семьи хочет приехать к нему в гостиницу; он – позволил, как если бы вопрос шел об чем-то самом обыкновенном, что случается с ним каждодневно.

На другой день Ада пришла к Латыгину, но не одна, а в сопровождении прислуги, которая, впрочем, осталась в коридоре. Ада была дочь местного купца-грека, довольно богатого, давно обрусевшего и давшего единственной дочери хорошее образование. Повторив Латыгину изъявление своего восторга, Ада стала просить скрипача давать ей уроки: она уже раньше начала учиться играть на скрипке. Хотя «Черный Лебедь» в лучшем случае мог провести в Одессе недели три, Латыгин согласился: так понравилась ему красивая гречаночка, с пламенными глазами, с изгибчивым станом, с повадкой не то капризной девочки, не то искусственной соблазнительницы. Впрочем, Латыгин все те дни жил как бы в непрерывном опьянении и все считал доступным и дозволенным.

Ада стала приходиться каждый день, сначала в сопровождении горничной, а потом и одна. Уже на третьем уроке Латыгин целовал руки своей ученицы, а на следующий день — обнял ее, привлек к себе и стал целовать в губы и в глаза. Ада не испугалась, не рассердилась, даже не затрепетала той дрожью, какой

трепещут девушки, когда мужчина впервые прикасается к их телу. Латыгин не мог понять, что это: беспредельность невинности или привычка опытной женщины. Но надобно было объяснить свой поступок, и Латыгин сказал:

– Я вас люблю.

Они были знакомы всего неделю, но времени было мало: день отъезда уже был назначен, и медлить не приходилось. Ада, в ответ на признание Латыгина, положила ему на грудь свою голову и своим полудетским голосом сказала столь же просто:

– И я вас полюбила, как только увидала.

В тот день, вместо урока, они только целовались, и, в конце назначенного часа, Латыгин уже посадил Аду к себе на колени, говорил ей «ты» и, в увлечении страсти, клялся, что никого не любил раньше и никого не любит больше. Он не скрыл, что женат, но сказал, что давно не живет с женой, говорил многое другое, что в такие минуты говорят мужчины. Ада делала вид, что верит, а может быть, и верила в самом деле, потому что была очень молода.

В один из следующих дней Латыгин уже имел право называть Аду своею. Он не был неопытным новичком в делах любви, но – странно – никогда после он не мог уяснить себе, был ли он первым возлюбленным Ады, или эта 19-летняя девочка уже раньше извела мужские ласки. В ней детская робость сочеталась с женской страстностью; как-то удивительно быстро от первых порывов стыда, отчаянья, почти отвращения она перешла к бесстыдству наслаждений и откровенности желаний. Их свидания были постоянной борьбой, в которой любовник должен был преодолевать страх и смущение своей любовницы, чтобы после увидеть себя побежденным затаенной настойчивостью ненасытной гетеры... В этом был какой-то особый соблазн, от которого Латыгин терял голову: он сам начинал верить, что все счастье его жизни – с Адой.

Подошел день отъезда «Черного Лебедя», но Латыгин не мог примириться с разлукой. Он обещал скоро вернуться и сдержал слово. Товарищество дало еще несколько концертов в южных городах, после чего разделилось:

небольшая группа поехала на Кавказ, другие, в том числе Латыгин, выделились, получив свою долю сборов. У Латыгина составилось около полутора тысяч рублей, когда он тайно вернулся в Одессу. Из этих денег он послал несколько сот жене, дожидавшейся его в Х., и в письме сочинил какую-то фантастическую историю о необходимости поехать в Крым. После того почти на два месяца Латыгин исчез.

Никто, даже близкие друзья, не знали, где находится Латыгин; он никому не писал, никого не извещал о себе, он жил incognito в гостинице, позаботясь, чтобы на доске приезжих не стояло его имени; выходил на улицу только по вечерам, пряча лицо от случайных знакомых; обедал у себя в комнате или в маленьких кухмистерских. Каждый день к Латыгину приходила Ада, и они проводили часы в радости любви, не желая ничего другого, не ища ничего более, не жалея, что у них нет других развлечений. Когда любовники уставали целоваться, Латыгин брал скрипку и играл свои композиции, которые сочинял, ожидая Аду. Все это было опять похоже на сказку

или на рассказ Эдгара По, – эта жизнь без людей, в одной комнате, без солнечного света, потому что почти всегда были опущены тяжелые шторы. На столе стояли цветы, фрукты, вино, какие-нибудь утонченные закуски: омары, икра, сыр, – а потом была музыка, полумрак, ласки, счастье, и не было людей, не было внешнего мира. Проходили дни и недели, как в зачарованном дворце.

Конечно, любовникам случалось говорить о своем будущем, но тоже как-то отвлеченно, как разговаривают героини сказок. Любовники строили планы, как будут жить вдвоем на Лазурном берегу, в вилле, под шум Средиземного моря и в прохладе лавров, или как поплывут в яхте среди островов Архипелага любоваться развалинами мраморных храмов и фиолетовых скал. Ада не спрашивала, возможно ли это: может быть, она составила преувеличенное представление о богатстве Латыгина, видя, как он свободно разбрасывает деньги. Сам Латыгин тоже не задумывался, осуществимы ли его мечты: ему было слишком приятно вообразить себя вместе с Адой среди пленительной роскоши Италии или Эллады.

А если наедине перед Латыгиным и вставляли неотвязчивые вопросы повседневности, он их отгонял, откладывал, уверяя себя, что еще успеет все обдумать. Надо будет поехать к жене, пережить тягостное объяснение с ней, а потом – давать концерты, писать и собирать дань с восхищенного мира. Бывают такие периоды в жизни, когда все представляется доступным, а впрочем, Латыгин не то чтобы был убежден в своем предстоящем успехе, а просто убаюкивал мечтами самого себя, как и Аду.

Облегчало положение то, что Ада была связана со своей семьей, не свободна. Ей приходилось придумывать тысячи хитростей, чтобы каждый день приходиться на свидание. Об том, чтобы уехать с Латыгиным на Ривьеру или в Грецию, она не могла и думать. Положение Латыгина было выгодно: он мог упрашивать, уговаривать, но Ада, в смущении, порой со слезами, отказывалась, просила прощения, твердила, что не в силах оставить бабу и бросить отца. Со стороны Латыгина тут не было сознательного расчета; он почти искренно умолял Аду – решиться, кинуть все и

уехать с ним теперь же, сегодня же. Но, если бы Ада вдруг нашла в себе решимость и согласилась исполнить просьбу, Латыгин оказался бы в очень трудном положении. Однако споры всегда кончались примирением: любовники опять сжимали друг друга в объятиях, улыбались, плача, и повторяли без конца:

– Но ведь нам хорошо! мы счастливы! так счастливы, как никто на земле! чего же больше!

Так прошло шесть недель. Деньги, которых Латыгин не берег, приходили к концу. Вместе с тем Латыгина тревожила мысль о жене и дочери: он не знал, что с ними, и опасался, что Мина начнет его разыскивать. Во всяком случае длить беспредельно странную жизнь, всю отданную одним ласкам, было невозможно; Латыгин откладывал так долго, как то было возможно, наконец, сказал Аде, что им необходимо на время расстаться, что он поедет, чтобы устроить свои дела, и после того вернется к ней навсегда.

К удивлению Латыгина, Ада приняла его признание спокойно. Она совершенно поверила или сделала вид, что совершенно верит

объяснениям своего любовника. Конечно, были слезы, были трогательные слова, были клятвы: Ада заставила Латыгина поклясться ей, что он никогда не поцелует более ни одной женщины, и сама поклялась быть ему верной во всем – в поступках, в словах, в помыслах. Латыгин осторожно намекнул, что не может точно определить срок разлуки: может быть, удастся вернуться скоро, через несколько дней, а может быть, обстоятельства заставят промедлить ряд недель, – как знать! – даже месяцев.

– Я только хочу знать, – сказала Ада, – что ты вернешься. Если я буду уверена, что ты там, без меня, стараешься для нас, чтобы мы были вместе, – я буду ждать. Но если ты мне изменишь, я в тот же день умру.

Они обещались писать друг другу на условные адреса. День последнего свидания был днем слез, ласк, восторга, отчаянья, хаоса чувств и слов. Ада нашла возможность проводить Латыгина на вокзал. До последней минуты она стояла на подножке вагона; когда поезд уже трогался, она при всех охватила своего возлюбленного руками, прижалась к нему

впивающимся поцелуем, потом зарыдала и, не оглядываясь, побежала прочь.

Уезжая, Латыгин сам не знал, насколько правды и насколько лжи во всем, что он говорил Аде. Внешностью своего сознания он верил, что разойдется с женой и вернется к Аде; в глубине души – знал, что этого не будет. Впрочем, поехать прямо к жене Латыгин не решился. Он остановился в промежуточном городе С., и случилось так, что там он заболел, – отчасти, может быть, под влиянием нервного потрясения от всего пережитого. Болезнь пришлась кстати: Латыгин написал жене длинное письмо, в котором как-то сбивчиво объяснил свою жизнь за два последних месяца и извещал, что лежит больной в С. Мина тотчас приехала.

Первые дни не было времени для объяснений: Латыгин был в лихорадке, страдал; казалось, что его болезнь – опасна. Может быть, Мина о многом догадалась из бреда больного, но после она никогда ни об чем не расспрашивала. Едва Латыгин стал поправляться, Мина увезла его в Х.; вообще в эти дни она проявляла неожиданную и несвойственную

ей энергию и распорядительность. В Х. Латыгины думали провести только некоторое время и поселиться в Москве или Петрограде. Но то было лето 1914 года. Разразилась война. Все расчеты спутались. Предложения, которые делались Латыгину антрепренерами, были взяты обратно. И ему пришлось остаться в Х. на неопределенное время.

Сначала Латыгин аккуратно каждый день приходил на почту за письмами от Ады. Болезнь, которую Латыгин в письмах мог преувеличить, давала ему правдоподобное объяснение, почему пришлось отсрочить осуществление их планов. Потом таким же объяснением служила война и связанные с нею обстоятельства жизни. Латыгин писал, что сейчас не может устроить своих дел, не может бросить жену без всяких средств, что надо ждать конца войны. Но в каждом письме настойчиво повторял свои прежние обещания, писал о своей страстной любви, клялся, что остается верен Аде и что живет только мечтой о тех днях, когда они вновь будут вместе.

Письма Ады тоже были страстны и наполнены признаниями в любви. Одно время Ла-

Латыгин готов был думать, что Ада легко забудет его, что она только притворялась, что верит его обязательству – вернуться. «Были у этой девчонки-гречанки любовники до меня, будут и после меня!» – зло говорил сам себе Латыгин. Но письма Ады должны были его разуверить. Длинные, по 8–10 страниц, написанные небрежным, детским почерком, который Латыгин плохо разбирал, эти письма были оживлены той искренностью, какую подделать невозможно. После страстных уверений, порой переходивших почти в бесстыдство, в письмах стала звучать мучительная тоска разлуки; Ада жаловалась в выражениях сдержанных, подавленных, но горьких; она повторяла, что согласна ждать, но было видно, что ей больно, что ей тяжело, что ей страшно.

Тем временем Латыгин сблизился с Машей. Разумеется, он ни словом не намекнул на это Аде. Но с каждым днем ему становилось все труднее писать ей. Он стал посылать ей письма через день, через два, раз в неделю, – притом письма, составленные из условных выражений, повторяющие прежние при-

знания, в сущности не говорящие ничего. Но это не значило, что Латыгин забывал Аду. Напротив, в тягостных условиях его жизни образ Ады становился для него все более и более дорогим. Он с болезненной ясностью помнил ее детскую красоту, ее точеное тело, ее стыдливо-бесстыдные ласки. Когда в воображении он сравнивал кроткую, замученную Мину или некрасивую истеричную Машу с той пленительной гречанкой, ему становилось душно: казалось, что из мира божественной Эллады он перешел в грубую, оскорбительную область действительности. Ада все более становилась для Латыгина мечтой, идеалом, и ее письма, которые он скорее угадывал, чем прочитывал, – единственным лучом в серых, томительных буднях.

Так длилось месяцы. Латыгин писал Аде затем, чтобы получать ее письма. Ее письмами он упивался; он по-детски плакал над ними; они были для него воплощением всего прекрасного в его жизни, его легендарным прошлым, столь не похожим на тусклое настоящее... Что Ада – живое существо, что она в самом деле ждет, надеется, страдает, Латыгин

почти не сознавал. Он так же мог бы переписываться с воображаемой женщиной. Эта переписка была мечтательным романом, и, наполняя свои письма клятвами, уверениями, фантастическими планами жизни вместе, Латыгин уже не думал, что эти обещания к чему-то обязывают...

И вдруг – тон писем Ады резко изменился. Она извещала, что ее отец решил выдать ее замуж. Она сообщала об этом Латыгину кратко, обрывисто и просила его совета. Латыгин смутился. Он написал в ответ какие-то ничего не значащие слова, напоминал Аде ее клятвы – быть верной, ждать, но в тайне души, хотя и с мучительной болью, думал, что все это – лучшая развязка положения, из которого не было выхода.

Получать письма Ады было для Латыгина всегда тяжелым делом. Почтовые чиновники знали «Моцарта» в лицо и лукаво улыбались, подавая ему маленькие конвертики с условными литерами на адресе. Иногда в толпе, наполнявшей почту, оказывались знакомые: это было еще мучительнее. Латыгин старался тогда сделать вид, что получает какие-то незначительные, не интересующие его письма, но это ему удавалось плохо.

По дороге от Маши до почты Латыгин успел обдумать, что ответить Аде (он и ответы писал обычно на почте же: дома трудно было утаиться от жены). Латыгин решил, наконец, написать всю правду. Довольно притворяться, довольно лгать! Все равно в будущем ничего лучшего не будет! Пусть Ада выходит замуж. Зачем, ради пустых иллюзий, перестраивать всю ее жизнь!.. Впрочем, уже сколько раз раньше Латыгин принимал такое решение!

На почте Латыгин уже не был дней пять-шесть. Однако чиновник, улыбаясь, подал

ему всего одно письмо – обычный маленький голубой конверт, на котором торопливым, характерно женским почерком Ады был нацарапан адрес. Отойдя в сторону, Латыгин прочел письмо.

*Мой милый, мой дорогой, мой единственный, – писала Ада, – знай: я решилась. Я спрашивала тебя несколько раз, не разлюбил ли ты меня. Я спрашивала тебя много раз, не являлись ли какие-нибудь препятствия к тому, чтобы мы были вместе. Ты мне всегда отвечал: нет, нет. Ты уверял меня, что только хлопоты по разводу задерживают тебя. Я тебе поверила. Я верю. Но я не могу больше жить без тебя. Я более не могу жить в доме отца, где требуют, чтобы я вышла замуж, когда я – твоя жена. Итак, слушай. Я ухожу из этого ненавистного мне дома, который не считаю родным. Мне все равно, получил ты развод или нет, даже все равно, получишь его или нет. Я теперь – совершеннолетняя и могу сама располагать своей судьбой. Я решила жить с тобой, потому что мы любим друг друга, потому что мы*

муж и жена, потому что это наше право. Я буду жить с тобой открыто, если ты хочешь, тайно, если ты предложишь, но только с тобой! с тобой! потому что ни с кем другим я жить не хочу и не могу. В среду, заметь это, в среду утром я уеду из О. и в четверг буду в X. Встреть меня на вокзале и тогда сделай со мной все, что захочешь. Милый, хороший, единственный, прости меня, если мой поступок причинит тебе беспокойство, но я не могу иначе, понимаешь, не могу. Я должна быть с тобой, иначе я больше не могу жить.

Обнимаю тебя тысячу раз, целую и вся полная счастьем от одной мысли, что скоро в самом деле буду целовать тебя.

Твоя, твоя и только твоя  
Ада.

Дальше следовали слова P. S.

P. S. 1. Если ты не хочешь, чтобы я приехала, телеграфируй немедленно. Я буду знать, что делать.

P. S. 2. Если я не найду тебя на вокзале, я поеду прямо к тебе и пошлю кого-ни-

*будь тебя вызвать.*

Латыгин, как безумный, перечитывал это письмо. Хаос мыслей крутился в его голове. Ада пишет, что в четверг она будет в X. Но сегодня именно четверг. Он шесть дней не был на почте. Теперь поздно телеграфировать. Даже, кажется, поздно ехать на вокзал. Поезд приехал...

Латыгин нервно бросился на улицу. У первого газетчика он купил газету. Скорый поезд из O. приходил в половине первого. Сейчас было уже пять минут первого. Что делать? Спешить на вокзал? Он мог опоздать, в 25 минут, пожалуй, не доедешь, но он – в двух шагах от дому... Спешить, бежать домой, чтобы Ада не появилась там раньше его.

Латыгин ни об чем не думал! Одно лишь помнил он: поспешить вовремя, предупредить встречу Ады с женой. Наняв извозчика, Латыгин взял его, не торгуясь, и велел ехать к дому скорей. Через несколько минут он был дома и тотчас, бегом перебежав двор, был почти у себя. Слава богу! значит, не опоздал.

Мина была занята на кухне, готовила что-то. В минуту волнения мысль работает быст-

ро. Пока Латыгин бежал по двору, он успел создать ход действий. Он вспомнил несколько слов, слышанных накануне у Карповых, и на них построил свой план.

Стараясь придать себе беспечный вид и скрывая волнение, Латыгин дружественно поздоровался с женой, ласково упрекнул ее за то, что она хлопочет излишне, а потом среди разных незначительных фраз сказал ей:

– А у меня к тебе большая просьба. Я не зашел сегодня к Карповым, так как меня расстроили у Андроновых, душа была не расположена. Но все-таки я думаю предложением Меркинсона воспользоваться... И вот что я думаю. Жена его, Анна Васильевна, больна: он это вчера говорил. Что, если бы ты зашла ее навестить? Меркинсон понимает, что мы во многом стоим выше их, что только случайность занесла нас в их среду, и твой визит очень польстил бы их самолюбию. А нам потом это оказалось бы на пользу, так как от Меркинсона зависит многое.

Мина очень неохотно согласилась на просьбу мужа. Она ссылалась и на то, что никогда не бывала у Меркинсонов, и на то, что у

нее сегодня много дел по дому, и на то, что, в конце концов, такой визит все же унижен. Латыгин настаивал ласково и кротко:

– Ну, сделай это для меня... А без обеда сегодня мы как-нибудь обойдемся.

Мина никогда не умела отказать мужу; согласилась она и на этот раз, хотя весьма неохотно. Для визита, однако, ей надо было одеться. Латыгин с тревогой поглядывал на часы, пока она причесывала волосы, надевала другое платье, переменяла башмаки... Сердце Латыгина билось учащенно: разница в пяти минутах может погубить все, но он не смел выразить своего нетерпения и даже счел должным сказать:

– Впрочем, если тебе это так неприятно, можешь не ходить...

– Нет, если ты уж так этого хочешь...

Наконец Мина была готова, в пальто, в шляпе; Латыгин любовно проводил ее до выхода, поцеловал ее нежно и просил возвращаться скорее:

– Ты только спросишь ее о здоровьи, посидишь минут пять, и больше ничего не нужно. Поверь, это произведет свое впечатление.

Доводы были неубедительны, но Латыгин просил так настойчиво, что Мина решила исполнить его странный каприз. Так ей казалось... К тому же муж был так мил, так ласков, каким давно уже не бывал. Мина в ответ тоже поцеловала его и сказала ласково:

– А ты отдохни, нельзя работать целый день, я вернусь скоро и успею приготовить обед и для тебя и для Лизочки.

Дверь за Миной захлопнулась. Латыгин топорливо взглянул на часы. Если поезд не опоздал, Адочка была в X. половина первого. На вокзале она должна будет прождать несколько минут, высматривая, не встречает ли ее Латыгин. Потом поездка от вокзала до квартиры Латыгина на хорошем извозчике займет не менее 20–25 минут, а вероятно, и все полчаса. Итак, есть еще 5–10 минут времени.

Латыгин облегченно вздохнул. Во всяком случае роковую встречу он сумел предотвратить. Теперь надо было подумать, как вести себя с Адой...

Но, чтобы обдумать это, не хватало времени. Спешно надев пальто, Латыгин вышел к

воротам: тотчас, в ту же минуту он увидел Аду, которая подъезжала на извозчике с небольшим чемоданом в руках...

В первый миг, когда Латыгин увидел Аду, с которой не встречался два года, у него захватило дух! Ада была все той же, как и в их блаженные дни. Это была та же девочка, которой можно было дать 15–16 лет, несмотря на ее совершеннолетие. Это было то же детски наивное лицо, тот же здоровый детский румянец, те же темные пламенные глаза, тот же отточенный эллинский нос мраморной Психеи, те же змеи черных, беспросветно-черных, сверкающих на солнце, как металл, волос... И все былое залило душу Латыгина, как река, прорвав плотину, затопляет берега; смыло сразу, как шаткие построения, все впечатления двух последних лет; отпрянули, как зыбкие следы, все недавние соображения и выводы: овладело душой полновластно... Прошел всего один миг, и Латыгин был всецело во власти прошлого.

Латыгин чувствовал такую слабость, что должен был прислониться к забору, чтобы не упасть. «В глазах потемнело, я весь изне-

мог», – сам вспомнил он стих Пушкина. Ада, остановив извозчика на углу переулка, шагах в ста от Латыгина, сошла с извозчика и стояла, оглядываясь, вероятно, выискивая, кому бы поручить письмо для передачи Латыгину. Маленькая, изящная, она была чудесным видением среди этих слишком знакомых домов, среди этой слишком знакомой неряшливой улицы, в этой слишком знакомой обстановке грязной мостовой, пошатнувшегося забора, чахлах деревьев бульвара, мелочной лавчонки на углу... Не видя никого, Ада растерянно шагнула несколько шагов вперед – и, встретив Латыгина, бросилась к нему.

Одну минуту Латыгин хотел упасть перед Адой на колени; потом ему страшно захотелось схватить ее в объятия, как маленькую девочку, сжать, зацеловать; потом он вспомнил, что сейчас день, что кругом все его знают, начиная с лавчонки на углу и городского на посту. И еще после он вдруг сообразил, что не успел подумать о своей наружности, что он – в истертом пальто, в старой шляпе, с непобритыми усами и уж, конечно, без тех духов, какими когда-то душился, ожидая по-

явления Ады. У Латыгина даже мелькнула ужасная мысль: узнает ли его Ада? Узнает ли своего возлюбленного, блестящего концертного виртуоза, изящного заезжего гастролера в этом скромном, бедно одетом обывателе? Эта мысль почти окаменила Латыгина, и его стремительный шаг оборвался, так что он остался неподвижным в двух-трех шагах от Ады. Но тогда его увидела она и вдруг с ласковым криком бросилась к нему.

Все исчезло, все позабылось, все смешалось. Латыгин целовал руки Ады, не замечая, как самодовольно ухмыляется лавочник, высунувшись из-за дверей с рекламируемой папиросой «Сэр»; Латыгин что-то говорил Аде, не слыша, что дворник довольно громко острил на его счет по поводу приезда «мамзели»... И Ада что-то отвечала, также, должно быть, не слыша и не видя ничего. Потом Латыгин чуть-чуть опомнился, огляделся и поспешно повел Аду за собой.

– Пойдем же, пойдем...

– Куда?

– Сюда! Пойдем! Я в одиночестве! Сейчас никого нет. Жена уехала... Идем.

Как-то нескладно Латыгин повел Аду через их грязный двор, отворил двери и поднялся с ней по лестнице. Ада несколько изумленно смотрела на бедную обстановку жилья своего возлюбленного. Латыгин взял из рук Ады чемодан, положил его в сторону, хотел предложить ей сесть, но вдруг нервы его не выдержали и он зарыдал, зарыдал обо всем: о своей нищете, о своих обманах, о своем будущем, и о себе самом, и о своей возлюбленной.

И, поддавшись влиянию этих слез, Ада тоже, прежде чем она успела обдумать все, что увидела, зарыдала тоже и упала на грудь своего любовника.

– Ах! – лепетала она, плача, – милый Родион! два года! два года я не видала тебя! Что я выстрадала за это время! Без тебя! одна! Меня все притесняли! Все мучили! Никто не мог меня защитить! И ты был далеко! Каждый день была пытка! И дни шли один за другим, много дней, много дней, много, много, много... Она повторяла это слово, рыдая:

– Много, много, много, много...

Латыгин обнял ее, посадил к себе на колени, целовал ее глаза, ее руки; блаженство

вливалось в его грудь, в его душу, блаженство, словно некий ореол, окутало его голову сиянием; он был счастлив в ту минуту, как давно, как двадцать четыре месяца тому назад. Не хотелось думать ни об чем, не хотелось открывать глаз, но хотелось видеть перед собой светозарные дали мечты, дивно-торжественные арки, переходы и залы во дворцах сияющих грез, и Латыгин твердил, опьяненный:

– Вот мы опять вместе, вот видишь, ты не верила, что мы будем вместе, но это свершилось! Мы вместе, мы двое и теперь навсегда. Навсегда, навсегда. Ты – моя! Ты – моя жена! Да? Моя? ведь так? Моя жена, любовница моя! Узнай меня. Я – тот же, я – твой Родион, я – твой мальчик, я – люблю тебя по-прежнему, и даже больше прежнего, люблю безмерно, безгранично, люблю, чтобы любить вечно! Ты – моя, и я – твой!

Она плакала с какой-то безнадежностью, и он плакал от горя и от счастья. Они целовали друг друга, и влажные губы скользили по влажным щекам. Слезы и поцелуи смешивались в одно, словно влага и пламя, и на миг

**Все стало каким-то несбыточным сном.**

Но часы в столовой стучали свое тик-так. Но перед глазами Латыгина была привычная обстановка его столовой. На столе лежали груды его рукописей, около – учебные книжки дочери. В углу стоял дорожный чемодан Адочки. С минуты на минуту могла прийти Лизочка и могла вернуться жена.

– Что же будем делать? – первая спросила Ада, опять растерянно глазами обегая скудную обстановку квартиры. Латыгину было до боли стыдно следить за этим взглядом и вместе с ним останавливаться на дешевых стульях, найденных у старьевщика, на поломанном столе, кушетке, купленной по случаю, на герани на окне, гравюре «Бетховен играет», на этажерке, где стояла дешевая посуда, на гардинах неумелой, грубой домашней работы. Ада словно силилась понять, что все это означает, а Латыгин употреблял все усилия, чтобы не дать ей ни во что вдуматься.

– Что же мы будем делать? – спросила Ада. Латыгин осторожно снял Аду со своих рук и встал.

– Ты приехала ко мне навсегда? – твердо спросил он.

Ада опять заплакала, заплакала безвольно, как безвольно льется ручей из своего источника, заплакала неудержимо, выплакивая все горе, все обиды, которые пережила за два года своего тоскливого одиночества.

– Навсегда! навсегда! – отвечала она, опять сквозь слезы. – Я без тебя жить не могу. Я решилась. Если ты меня прогонишь, я умру.

– И ты – права, – твердо сказал Латыгин, – мы не можем жить розно. Я был трус, я был негодяй, я был низок, что до сих пор оставался вдали от тебя. Ты меня пристыдила, Ада, ты – лучше, ты – мужественнее, ты – благороднее меня. Ты поступила так, как должна была поступить. Это я должен был, несмотря ни на что, прийти к тебе. Но пришла ты. Все равно. Мы больше не расстанемся!

Он говорил то, что думал. Он был совершенно уверен в том, что говорил. Ада смотрела на него восторженными глазами, только на миг переставая плакать, но тотчас зарыдала опять, словно ключ ее слез был неисчерпаем.

– Значит, ты меня не прогонишь?

– Я? прогоню тебя? боже мой! Я боюсь одного: что ты меня отвергнешь! Быть с тобой! Ведь это же мое блаженство. Так оно было, так оно есть, так будет всегда! Ты страдала в разлуке. А разве я не страдал? Что выстрадал я, этого ты не знаешь и никогда не узнаешь! Но все прошло, как туча, которую пронес ветер. Мы вместе! Мы вместе и опять навсегда.

– Правда? – воскликнула Ада, простирая к нему руки, – правда? навсегда? навсегда? и вместе?

...Латыгин вдруг вспомнил их давнюю клятву.

– А помнишь, – сказал он, – тот поцелуй, который мы обещали друг другу при свидании?

– Ах, да!

И Ада, улыбаясь опять, как маленькая девочка, обняла его и, прижавшись губами к его губам, не отпускала долго, впиваясь медленно и сладострастно. Теперь ее лицо было весело, она беспечно хохотала, она веселилась, но он помнил, что надо торопиться.

– Идем скорее, – сказал он.

– Как идем? Куда?

– Мы не можем оставаться здесь.

– А почему?

– Но, боже мой, сейчас вернется моя жена.

– Жена?

Выразительное лицо маленькой гречанки тотчас омрачилось. Она словно забыла о том, что Латыгин женат, что она здесь не у себя дома. С видимым усилием Ада переспросила:

– Значит, мне нельзя быть с тобой? Ты меня от себя прогонишь?

– Нет! Нет! – со страстью воскликнул Латыгин. – Нет! ты будешь со мной, или, лучше сказать, я буду с тобой. Но не здесь. Да я и не хочу, чтобы ты была здесь. В этом доме все полно другим, чужим тебе, что я хочу забыть. Уйдем отсюда. И скорее. Уйдем, и уйдем навсегда. Уйдем, чтобы навсегда быть вдвоем.

Ада смотрела на своего возлюбленного, не понимая. Латыгин же хлопотливо и усердно стал что-то собирать. Потом деловым голосом спросил:

– С тобой только этот чемодан?

– Да, только этот, – отвечала Ада и тотчас добавила: – Я не могла захватить ничего боль-

ше. Это вызвало бы подозрение. И так отец...

Латыгин прервал ее:

– Хорошо. Нам ничего и не надо. Мы все создадим снова! Все от самого начала, так будет лучше. Но идем.

Латыгин загляделся. Он думал об том, что взять с собой. Мелькнули мысли о разных небольших предметах, о костюмах, белье, бритве и других туалетных принадлежностях... Но тотчас он отклонил эти мысли: не было времени собирать такие вещи, да и некуда было их положить. Одно казалось взять необходимым: это его рукописи...

Латыгин достал старый саквояж, не разбирая всунул в него все тетради нотной бумаги, паспорт, положил скрипку; сунув рукописи отдельно, быстро прошел в спальню и, вернувшись, добавил к взятому небольшой пакет, где были папиросы, бритва, носовые платки и кое-что еще попавшееся ему под руку из белья. Потом, сев за стол, Латыгин начал было писать жене письмо, но, написав несколько строк, разорвал и бросил. Нет, у него не было времени объяснять. Он взял другой лист бумаги, написал одно слово: «про-

щай» и подписал: «твой Родион»; потом, стараясь, чтобы этого не увидела Ада, всунул в письмо две десятирублевых бумажки, запечатал конверт и четко написал сверху: «Мине Эдуардовне Латыгиной». Потом вдруг несколько раз огляделся кругом. Часы пробили половину второго.

Бой часов придал Латыгину новую решимость и цельность. Уже он держал себя, как властный. Все было определено, и поступки его были рассчитаны. Он тихо и нежно опять обнял Аду, и она опять доверчиво припала к его губам... После этих поцелуев Латыгин взял в руки свой саквояж, чемодан Ады и скрипку и сказал повелительно:

– Идем!

Ада с какой-то робостью повиновалась. Они вышли, Латыгин запер дверь и, пройдя через двор, отдал ключ дворнику, кинув ему коротко:

– Передайте Мине Эдуардовне.

– Понимаем-с, – ответил дворник, нагло ухмыляясь, хотя неизвестно было, что именно он понимал.

Выйдя на улицу, Латыгин нарочно повер-

нул в сторону, противоположную той, откуда могли прийти Лиза и Мина Эдуардовна. Ада пошла за ним, не спрашивая объяснения. Пройдя некоторое расстояние, Латыгин взял извозчика и помог Аде сесть в пролетку.

– Ты голодна? – спросил Латыгин, как если б все остальное уже было объяснено и решено.

– Да, я сегодня даже не пила кофе, – призналась Ада.

– Мы сейчас будем обедать.

Потом, назвав извозчику улицу, Латыгин стал спрашивать Аду об том, как она жила эти два года в О. Как-то повели разговор помимо сегодняшнего свидания. Ада говорила о своей подруге, о своем отце, о своих женихах, которые ей очень досаждали. Разговор вели так, как если бы любовники разлучились всего два-три дня тому назад. Ни слова не было сказано о Латыгине, об его жене и семье, которых он покидал в те минуты – как он был уверен – навсегда.

Латыгин увез Аду в гостиницу неподалеку от одного из вокзалов. Латыгин уловил, что Ада чуть-чуть поморщилась на непригляд-

ный вид довольно грязной лестницы и на скудную обстановку номера; но тотчас, вероятно, уловив взгляд Латыгина, она пересилила себя и поспешила сказать со всей искренностью:

– Веди меня куда хочешь! С тобой мне будет хорошо всюду!

В номере они спросили себе обед. Им подали жалкий суп, твердую, несъедобную говядину, рыбу, не совсем свежую, сладкие пирожки, которые пахли салом... Но голод у обоих сказался, едва они остались вдвоем. Они опять обняли друг друга и смотрели друг другу в глаза, и повторяли друг другу бессвязные признания.

– Ты так же ли любишь, по-прежнему?

– Ты теперь не разлюбишь меня? Ты – прежний?

– И ты – все та же! все та же! как это странно.

– Словно в сказке?

– Это лучше сказки.

Потом Ада опять вспоминала пережитое ею за два года и плакала. Вдруг Латыгин опять понял, что он вновь с Адой, и его охва-

тило безумное блаженство. Мечты и действительность путались. То ему казалось, будто вернулось то, что было два года тому назад; то представлялось, будто настало то, что должно было наступить лишь много лет позже. Причем настоящее и будущее сливалось в единый миг.

Они пили вино, но оно пьянило их меньше, чем встреча. Они смотрели друг другу в глаза и не то упивались один другим, не то угадывали что-то новое. Они смеялись без причины и плакали, когда можно было смеяться.

Латыгин взял скрипку и стал играть. Он играл свои прежние песни славы, и «Песнь недолгой разлуки», и «Гимн победителя», и импровизованную «Песнь встречи».

Казалось, что он играл прекрасно, а может быть, он и в самом деле играл прекрасно. Потом настал такой миг, когда они не могли больше сопротивляться воспоминаниям прошлого и желали ласк. Глаза Ады стали темные и тусклые, как море перед бурей. Латыгин прижал Аду так сильно, что ее детское тело словно переломилось в этих мужских объ-

ятнях, и спросил тихо, вдумчиво, но повелительно:

– Ведь ты моя жена? Да?

И она отвечала так же тихо и напряженно:

– Да...

Она не сопротивлялась, и в этом грязном номере гостиницы, отдающемся в наем прохожим парочкам, они, двое влюбленных, возобновили свой брак, не думая ни о завтрашнем дне, ни об том, что их ждет через несколько часов после того, – они твердили:

– Милый! милая! опять, как тогда.

Случилось, что оба заснули, утомленные волнениями дня, всеми потрясениями долго ожидаемой и все же неожиданной встречи, ласками и слезами.

Проснувшись, Латыгин поднялся, посмотрел на часы. Было почти 7 часов. Он вспомнил, что поезд в Москву идет в 9. Надо было опять торопиться. Но недавняя горячка прошла. Голова была трезвой и мысли мучительно ясны. Тихонько приподнявшись на постели, Латыгин стал смотреть на Аду, которая спала рядом с ним.

В комнате было жарко, и девочка раскинулась во сне, оттолкнув ногой одеяло. Были видны ее миниатюрные ноги, красиво отточенные, словно из мрамора, ее полудетские маленькие восковые груди, ее красиво округленные, чуть-чуть худенькие плечи. Голова лежала глубоко в маленькой подушке. На щеках, несмотря на сон, проступал яркий румянец, который не мог, однако, сделать менее алыми ее пунцовые губы; черные растрепавшиеся волосы самовольно вились, доходили

до плеч, падали на грудь, касаясь щеки. Всматриваясь в Аду, Латыгин мог сказать одно: «Да! она хороша! Она очень хороша! Она уже почти красавица и будет ею через год. Она на самой грани, чтоб из очаровательной девочки вдруг стать прекрасной женщиной. И вот она – моя. Я владею ею, она хочет, чтобы я был ее властелином. Разве это не счастье?» Только мысленно Латыгин подумал почти словами, почти произнес в уме: «Разве это не счастье?»

Но вслед за тем быстро в мыслях Латыгина стали проноситься все последние поступки, совершенные им сегодня. Он вспомнил свою жену, свою дочь, свой дом. Он представил себе, как Мина Эдуардовна вернулась домой от Меркинсонов, где ей оказали, может быть, во все не тот прием, какой он предсказывал, – вернулась и нашла на столе загадочное письмо с одним словом: «прощай» и двадцать рублей денег... Двадцать рублей! На какой срок? На месяц? На год? Навсегда? Ибо что сможет он, нищий «Моцарт», послать еще своей покинутой жене?

Или, может быть, письмо раньше нашла

Лизочка. Она не по летам развита, и суровая школа жизни, полной лишений, научила ее многому. Может быть, хотя на конверте написано им «Мине Эдуардовне», Лизочка первая распечатала письмо. Как знать, может быть, у Лизы достаточно мужества, сметливости и предвидения, чтобы утаить это письмо и не показывать его матери. У Лизы могла возникнуть последняя надежда, что письмо написано в одном из тех порывов, которые иногда находили на ее отца; она могла надеяться, что отец потом сам раскается в своем письме. Может быть, Лизочка спрятала и письмо и деньги от матери, спрятала их, решив выждать время; может быть, все еще и устроится само собой. Тогда отвечать придется только за время своего исчезновения из дома.

Если вернуться сейчас, жена, конечно, будет упрекать, может быть, покричит немного, поплачет, но все понемногу успокоится. Можно будет недосказать, как-нибудь объяснить. А потом Лизочка тихо подаст отцу спрятанные письмо и деньги, и он, Латыгин, поцелует с благодарностью дочь за ее ум и догадливость...

Как все просто!

Но тотчас же Латыгин, вздрогнув, постарался сбросить с себя эти нелепые мысли. Об чем он думает? Разве дело не решено? Разве не решено, что он ушел из дому насовсем, навсегда! Разве не решено, что отныне он будет жить с ней, с Адой, с той, кого он любит! Разве это решение не подтверждено всем, что он сейчас сделал! Можно ли после этого идти назад? Какое безумие!

И потом ведь это же счастье, единственно возможное на земле счастье перед ним. Разве так много блаженств в мире, что можно было бы пренебрегать тем, которое является на пути! Во имя чего можно принести в жертву свою душу, лишить ее счастья, т. е. лишить воздуха, которым она дышит! Ведь это же самоотверженность! И так! Разве Ада перенесет, если теперь, после всего, что было сегодня, он скажет ей, что передумал, что быть с нею, жить с нею не может! Ведь это же значит убить эту маленькую девочку, столь доверчиво пришедшую к нему, пошедшую за ним, отдавшуюся ему. Поздно передумывать! Может быть, в первую минуту, когда Ада

только что явилась перед ним, была еще возможность сказать ей, что он не может исполнить своих прежних обещаний. Может быть, она тогда и вынесла бы этот удар, который можно было подготовить двумя годами переписки, полной всяких оговорок и уклончивых объяснений... Но теперь – теперь ничего такого невозможно! Теперь сказать Аде, что он ее покидает, – было бы низко, подло, недостойно художника, и вместе с тем это значило бы произнести Аде смертный приговор. Да, он знает Аду, она исполнит свою угрозу: теперь она не будет жить без него.

Латыгин решился. Быстро поправив волосы, он тихо поцеловал руку Ады и поцелуем разбудил ее. Она открыла свои большие черные глаза, обвела ими незнакомую комнату, все вспомнила и, краснея от стыда, поспешила натянуть одеяло на свое почти обнаженное тело.

– Как странно, – прошептала она, – вот мы вместе! Вместе спим. Этого никогда не бывало.

– Но теперь так будет всегда, – сказал Латыгин, – разве это плохо?

– Это слишком хорошо, – отвечала девочка. Латыгин опять сжал ее в объятиях, чувствуя теплоту ее тела у своей груди. И все недавние раздумия о жене, о возвращении домой вылетели из его головы, развеялись, как дым под утренним ветром. В душе было одно желание – оставаться с Адой теперь, долго, всегда. Внезапно Латыгин сказал серьезно:

– Но вот что, Ада, надо одеваться и ехать.

– Ехать? Куда? – переспросила Ада тоном капризного ребенка.

Латыгин стал объяснять ей, что жить в Х. вдвоем им невозможно. Его слишком многие знают. Жена, так как развода еще нет, может причинить им много неприятностей. Да и помимо того им обоим, самой Аде, как и Латыгину, будет тяжело встречаться с его женой. Кроме того, добавил Латыгин, после тех толков, какие возникнут из-за его расхождения с женой (Латыгин не хотел произнести слова «скандал»), ему, Латыгину, трудно будет найти себе в Х. какое-нибудь подходящее занятие.

– А ты знаешь, – заметил он, произнося слова с большим усилием, – у меня нет ниче-

го, кроме моего таланта: я должен зарабатывать деньги. Я сумею их заработать, – поспешил добавить он, – но бывают обстоятельства, которые этому мешают. И причина нашей встречи с тобой будет именно таким обстоятельством. Нам надо уехать в другой город.

Сейчас же Латыгин прибавил, что вообще в Х. он живет лишь временно, что он и не намеревался жить в нем с Адой, что он хотел бы жить с ней в одной из столиц или за границей. Там жизнь свободнее и приятнее, там много интересных людей, там театры, концерты, музеи... Одним словом, они выберут себе город по своему вкусу, а пока надо скорее уехать из Х. Латыгин предлагал ехать прежде всего в Москву.

Ада надула было губки, но потом, вспомнив, вероятно, что дала себе слово не быть требовательной, ограничивать свои желания и повиноваться Латыгину, поспешила принять вид покорный. Она вздохнула только об том, что надо ехать именно сегодня: надо вставать из теплой постели, одеваться, ехать на вокзал и потом провести целую ночь в ва-

гоне, где, может быть, еще не удастся достать спального места...

При упоминании о спальном месте Латыгин в душе горько улыбнулся. Он мысленно счел свои деньги и подвел итог: за вычетом 20 рублей, оставленных жене, у него остается всего денег 58 рублей и какая-то мелочь – да из этих несколько рублей надо будет заплатить здесь в гостинице. И это – весь капитал, с которым он собирается вступить в жизнь вдвоем с любимой женщиной, привыкшей если не к роскоши, то к полному довольству и беспечности... Он, Латыгин, не сказал ни слова Аде о своих затруднениях и только ласково стал просить ее поторопиться и одеться поскорее, чтобы успеть на вокзал заручиться теми самыми «спальными местами», о которых она мечтала.

Ада стала одеваться с очаровательной неловкостью, так как дома ей помогала горничная, но, одеваясь, Ада не раз поворачивалась к Латыгину, чтобы поцеловать его, и это делало все ее поступки для него пленительными без конца. Ада мило кокетничала, она была еще без корсета, с распущенными воло-

сами, и ее детское тело изгибалось, как тело кошечки. Латыгин вспомнил утомленное худое тело жены или грубую шершавую кожу на теле Маши, и ему стало казаться, что Ада из породы иных существ, что если она – женщина, то тех нельзя назвать такими же наименованиями. В голове его на минутку промелькнула новая мысль: «Хвала телу женщины», – но тотчас он остановил себя и, привычный к анализу своих чувств, спросил себя: «Что же, неужели мне нравится в ней лишь тело?»

Раздумывать, однако, было некогда. До отхода поезда оставалось с небольшим полтора часа. Латыгин позвонил и приказал подать счет. Между тем Ада уже забыла все неприятности событий и беспечно болтала об том, как она будет жить в Москве. Ада расспрашивала, какая опера в Москве, какие певцы, будут ли концерты, несмотря на военное время. Она слышала о концертах Кусевицкого и настаивала, чтобы они с Латыгиным непременно абонировались на всю серию его концертов. После необходимо послушать Вагнера, она, Ада, из всех его опер слышала только Ло-

энгрина, между тем в Москве поют всю тетралогию о гибели богов... Да... и драматические театры необходимо посетить все. Кроме того, от Москвы так близко до Петербурга...

Слушая милую болтовню Ады, Латыгин мысленно как-то покачивал головой, а ум его так упорно повторял цифры: 58 рублей, счет 4 рубля 20 копеек, на чай 50 копеек, итого 4 рубля 70 копеек, остается 53 рубля 30 копеек, что он даже не слышал иных слов Ады, и она вдруг рассердилась:

– Что же ты меня не слушаешь? Я тебе этого не позволю. Я хочу, чтобы ты, когда я говорю, слушал меня всегда, всё, каждое слово! Будешь?

– Буду! буду! милая, – воскликнул Латыгин не то с восторгом, не то с тоской, и снова обнял Аду, готовый смеяться, и чувствовал, что к горлу подступают слезы.

Неодолимая тревога встала в душе Латыгина. Было страшно будущего и уже было мучительно жаль прошлого – вот этого тяжелого прошлого, с заботами о завтрашнем обеде, со стыдом за потраченные 3 рубля, с оскорблениями дворников и швейцаров. Упорно вста-

вали в уме образ жены, какой она была вчера, когда свет лампы озарял их новую брачную ночь, и образ дочери, маленькой Лизочки, как она слушала утром, прежде чем уйти в гимназию, «Пляску медуз», исполненную отцом. А вместо них перед глазами была еще полуодетая Адочка, молодая, свежая, красивая, любящая, полудетская грудь которой задорно выступала из-за маленького корсета с нежно-фиолетовыми шелковыми лентами. Что-то было кошмаром: или то настойчивое, тягостное прошлое, или это назойливое, свершающееся настоящее. «Или я грустил, что так несчастен, или грущу теперь, что могу быть счастлив, – говорил сам себе Латыгин, и не было сил разобраться, где он – наяву, он – настоящий, здесь, перед этим благоуханным телом любимой девушки, или там, в нищете квартиры над погребками.

Номерной принес сдачи. Латыгин помог Аде надеть пальто. Он опять взял в руки два чемодана и скрипку, и они вышли.

Темнело. Опять, как вчера, распространялся туман. Зажигали фонари, и они расплывались сквозь сырость тусклыми пятнами. Люди шли, приподняв воротники, и казалось, что все странно торопятся куда-то.

Чтобы попасть на вокзал, надо было только перейти через площадь. Ада опять оживилась и щебетала, строя планы поездки и жизни в Москве.

Она нежно прижалась к Латыгину, с которым шла под руку, и повторяла:

– Главное, что мы вместе! Все остальное, будь что будет! Я на все готова. Милый, я все перенесу, только бы быть с тобой.

Внезапно она рассмеялась ребяческим хохотом, вспомнив про отца.

– Как он теперь сердится! Вторые сутки меня нет дома. Представь! я написала ему только одну строку. «Прости, папочка, я уезжаю к мужу!» Как он теперь ломает голову, кто мой муж! Пришла тетушка, и все дядюшки, вероятно, обсуждают, гневаются, вспомнили бабушку Анастасию. Была у меня такая бабуш-

ка, я тебе рассказывала, помнишь? Когда что-нибудь случалось со мной, всегда говорили: «Будь бабушка Анастасия жива, она бы не посмела этого сделать». И теперь, наверное, сто раз повторяли эти слова. Но что мне бабушка Анастасия, когда я с моим мужем! И никто не знает, какой он у меня хороший, умный, гениальный! А когда ты будешь совсем знаменитым, когда твой портрет будет напечатан во всех журналах, французских, итальянских, английских и даже греческих, мы приедем домой. И я скажу отцу: «Папочка, вот мой муж, тот самый знаменитый композитор Латыгин, портрет которого напечатан в твоей Nestia!» Посмотрим, что-то тогда найдется сказать у отца!

Ада говорила еще много, а на душе Латыгина становилось все тоскливее и тоскливее. Он шел молча, слушая бесконечную болтовню своей возлюбленной. Х., где Латыгин проживал всего два года, казался ему родным городом, из которого теперь он уезжает в чужие страны. Так они пришли на вокзал.

Латыгин проводил Аду в буфет, приказал подать ей кофе, а сам пошел было брать биле-

ты; ему удалось отыскать носильщика, взявшего «достать» спальные места, и Латыгин угрюмый вернулся к Аде. Он сел рядом с ней и не мог заставить себя говорить. Слов не было.

Кругом смотрел полный зал, той напряженной жизнью, какая возможна на вокзалах за час до отхода «дальних» поездов. Бегали официанты, носильщики, посыльные; пассажиры растерянно осведомлялись у каждого встречного, когда поезд идет, где касса, как пройти на перрон. Там и сям возникали маленькие скандалы, кто-то гневно кричал, какая-то женщина жаловалась с причитаниями. Пахло застоявшимися кушаньями и нефтяным дымом. Ада продолжала свою бесконечную болтовню, а Латыгин, смотря на нее в упор, думал:

«И с этой пустой, красивой куклой я хочу прожить всю жизнь? Чем она лучше Маши? Тем разве только, что у этой выхоленное тело, а у той истомленное бесконечными ночами за аппаратом. И разве не в тысячу, не в сто тысяч раз лучше, прекраснее, благороднее моя Мина, переносившая со мной все тяготы

жизни, в то время, как эта гречанка, думающая о своем отце, пугавшем ее бабушкой Анастасо!.. Милая, милая Мина! и тебя я бросил, без денег, без поддержки, бросил на улицу с дочерью, с моей дочерью, с моей милой Лизанькой, бросил ради розовых плеч и упругих груди! Это называется – быть безумным, как художник, быть влюбленным в красоту, как артист?! что же? Или у этих есть другие, гораздо менее звучные названия! О негодяй! негодяй! негодяй!»

Последнее бранное слово Латыгин произнес почти вслух. Ада, конечно, обратила внимание, что он не слушает ее, и, мило надув губки, стала ему выговаривать. Латыгин оправдывался тем, что думал о разных мелочах путешествия. По счастью, пришел носильщик, принес билеты и отвлек разговор. Латыгин получил сдачу и дал три рубля посыльному, который пробурчал: «покорнейше благодарю» и тотчас отошел. Но Латыгин, считая в уме расход за чай, за билет и оставшиеся деньги в кармане, спросил, стараясь говорить небрежно:

– У тебя есть свои деньги, Ада?

Ада поглядела на него изумленными глазами и отвечала:

– Я скопила для моей поездки немного денег. У меня теперь осталось еще 80 рублей. Правда я умница? Похвали меня! А ты всегда говорил, бывало, что я – дитя и ничего в жизни и в деле не смыслю.

– Нет, ты в самом деле умница, – сказал в ответ Латыгин, улыбаясь.

Он немного повеселел. «По крайней мере у нее достанет денег, чтобы вернуться из Москвы к отцу», – подумал он. Но тотчас же прервал свои собственные мысли: «Боже мой! об чем я думаю! зачем ей возвращаться к отцу! Да и примет ли ее отец после побега? Нет, нет, этого нельзя думать, так думать – постыдно!» И, чтобы отвести мысли в другую сторону, он встал и сказал Аде:

– Уже можно садиться, пойдем в вагон. Это и потому еще необходимо, – сказал он, громко отвечая сам себе, – что здесь нас может увидеть кто-нибудь из знакомых: тогда может выйти нелепая сцена.

Ада не возражала. Они прошли через вокзал, вышли на перрон и разыскали свой ва-

гон. Ада опять чуть-чуть поморщилась, когда увидела, что они будут ехать в разных отделениях: она – в дамском, он – в мужском.

– Признаться, девочка, – оправдывался Латыгин, – отдельное купе теперь надо заказывать за несколько дней вперед. И потом, – добавил он, собрав все свое мужество, – это было бы слишком дорого. Увы, моя девочка, со мной тебе придется приучаться к скромности.

Последние слова сразу сделали Аду серьезной. Она перестала дуться и поспешно ответила, как показалось Латыгину, со всей искренностью:

– Милый, я знаю! Я на все готова. Я буду терпеть какие хочешь лишения, если надо, буду голодать, только бы быть с тобой! с тобой!

«Боже мой! что ж, и это возможно!» – подумал с тоской Латыгин, и странно, ответ Ады почти рассердил его. Ему было бы приятнее, если бы Ада потребовала невозможного, стала бы настаивать на том, чтобы они ехали в отдельном купе первого класса, не желала бы слушать никаких доводов, проявила бы ребя-

ческое непонимание обстоятельств. Но этот серьезный тон обезоружил Латыгина, и он чувствовал, что какое-то ярмо тяжелее сдавило его чело.

Латыгин провел Аду в ее отделение, уложил ее чемодан и передал ей ее билет.

– Ты должна уметь быть самостоятельной, – сказал он. – С тебя могут спросить билет ночью: не потеряй его. И береги свои деньги, они нам, вероятно, пригодятся.

– Ведь приехала же я одна к тебе! – самодовольно воскликнула Ада, – все сделала сама, и билет купила, и ехала, и даже обедала по дороге. Клерочка мне только чуть-чуть помогала при отъезде, а то я все сама, все сама.

– Ты у меня умница, – тоскливо сказал Латыгин.

Слова не шли у него с языка. Ада шумно шутила и, когда в вагоне никого не было, то быстро поцеловала Латыгина в губы. Но и этот поцелуй не оживил его. Тоска дошла до таких пределов, что хотелось не то что плакать, но завывать, как зверю, завывать и убежать. Внезапно вспомнилось, как в детстве он играл со сверстниками в особенно странную иг-

ру, в «индейцев», и вот однажды, по ходу игры, он оказался пленником краснокожих; его связали и поставили к столбу пыток, и два старших мальчика серьезно стали готовиться терзать его тело раскаленными копьями, изображенными палками от щеток, и затем скальпировать при помощи ножа для разрезанья книг; тогда он, маленький Родя, каким он был тогда, вдруг «разревелся» и поднял крик: «Не хочу больше играть!» И вот теперь, когда он, уже «большой» Латыгин, стоял в проходе вагона, чтобы уехать со своей любовью от своей жены, ему опять захотелось так же зарыдать и закричать так же: «Не хочу больше играть!» Жаль, боже! Как просто было тогда из пленника свирепых дикарей превратиться в приготовишку Родю, и как невозможно теперь сделать так, чтобы все случившееся оказалось опять игрой, простой, детской игрой.

– Пойми! ведь я только играл в индейцев! – хотелось кричать Латыгину. Но Адочка была здесь, Ада, убежавшая от отца, которую он, Латыгин, два года уверял, что не сегодня – завтра начнет с ней новую жизнь; Адочка

смотрела на него любящими глазами женщины; еще несколько часов назад он ласкал ее детское тело, как любовник. Кто же поверит, что все это была «игра», только детская игра!

Мысль Латыгина сделала скачок. Он вспомнил теорию Шиллера: происхождение искусства из игры. «Ведь я же – художник», – сказал он в свое оправдание. Но сам потом рассмеялся над своим доводом. «Кто же тебе поверит! – отвечал он сам себе, – и хороша игра, которая разбивает сердце и жизнь двух, трех, нет, четырех, а может быть, и более пяти (ему вспомнился отец Ады) людей! однако игра, роковая игра, злодейская игра!». И ему уже захотелось крикнуть себе не «негодяй», но «злодей»... Его мысли путались, и он с трудом расслышал, что Ада ему что-то говорила.

Оказалось, она просила его купить яблок на дорогу.

– Не сердись, милый, – говорила она рассудительно, – это стоит недорого. Купи всего два, ну, три яблока: одно тебе, а два мне. Ночью в дороге так хочется пить. Самых маленьких, самых дешевых...

– Ну, конечно, куплю! – покорно отвечал

Латыгин. – Сейчас принесу.

– А ты успеешь?

– Да ведь еще не было второго звонка.

– Или нет, лучше не ходи! Я боюсь остаться одна, а вдруг не успеешь?

– Какие пустяки! Здесь два шага до буфета. Сейчас пойду и принесу.

Ада уже удерживала его боязливо, но Латыгин, посмеявшись, решительно спрыгнул на перрон и побежал к буфету. Ада, выйдя на площадку, следила за ним тревожным взглядом. У входа в вагон теснились провожатые, но над ними была ясно видна ее хорошенькая головка в какой-то эксцентричной ярко-красной шляпе.

Латыгин подошел к буфету, выбрал пяток хороших яблок, заплатил за них рубль. Уже пакет был в его руках, когда прозвучал второй звонок. «Три минуты до отхода», – подумал Латыгин. Он быстро вошел на перрон. Ада издали радостно кивала ему головой, торопя его войти в вагон. Латыгин еще раз взглянул в ее веселое, красивое, но по-детски еще не определившееся лицо, в черные дуги ее бровей, в ее ярко-алые губы и опять вспом-

нил с ясностью неизменно утомленные черты лица своей жены, ее большие выразительные глаза с тенью вокруг, ее обесцветшие губы, с морщинами страдания у сгиба рта. Невероятная тоска опять сжала сердце.

«Минуту, хоть одну минуту я должен быть один!» Эта мысль, как раскаленное лезвие, прорезала сознание Латыгина. Он сделал Аде знак рукой, дав понять, что сейчас вернется, и опять как бы нырнул в толпу, быстро спешившую из буфета.

Все, что произошло потом, свершилось как бы во сне. Латыгин не рассуждал, не обдумывал, не спорил с тем бессознательным, что заставило его действовать. Он не спрашивал себя, хорошо ли он поступает, честно ли это или преступно, наконец, нельзя ли то же самое совершить иначе, в более благородных формах. Его ум был занят одним: суметь и успеть все сделать и притом так, чтобы достигнуть нужного результата. Казалось, что перед ним две пропасти, два ужаса, так легко было упасть в один или в другой, налево или направо, а между этими пропастями была лишь одна черта дороги, подобно той, о которой говорит-

ся в Коране: «Тоньше волоса и острее лезвия сабли». Но Латыгин знал, что он должен пройти по этой дороге, не соскользнув ни налево, ни направо, пройти сам и провести кого-то другого – именно так, как он, Латыгин, этого хочет. Латыгин быстро выхватил из кармана визитную карточку и четко, крупно написал на ней: «Если можешь, прости. Прощай навсегда. Милая, я не достоин тебя. Несчастный Родион». Нашел в кармане и конверт; на нем Латыгин надписал: «Аде Нериоти». Потом он подозвал к себе мальчика из-за буфета, дал ему полтинник и объяснил:

– Видишь вот ту даму в красной шляпе, которая выглядывает с площадки спального вагона? Пойди к ней и в ту минуту, как поезд тронется, подай ей это письмо. Но только именно в ту минуту, ни раньше, ни позже. Слышишь? И если снесешь, получишь еще столько же!

– Понимаем-с, – сказал мальчик, и Латыгин с болью в сердце вспомнил, что точно так же ответил ему дворник, когда он передавал ему ключ от своей квартиры.

Но думать было некогда. Уже звонил тре-

тий звонок. Латыгин знал, что Ада сейчас выпрыгнет из вагона, и поэтому быстро появился на перроне и, махнув ей рукой, как бы прося ее успокоиться, бросился к ближайшему от себя вагону и, силой оттолкнув кондуктора, вспрыгнул на площадку. Он видел, что мальчик, честно исполняя поручение, в эту минуту подавал его письмо Аде. Еще он успел рассмотреть, что Ада изумленно распечатывала письмо, но поезд уже прибавил ходу, и он также быстро спрыгнул обратно на платформу, не слушая брани, которой осыпал его кондуктор.

– Так, господин, невозможно! Разобьетесь, а мы за вас отвечаем. Куда вы прыгаете, я начальнику станции доложу!..

Кто-то кричал над ухом Латыгина эти слова, но он весь впился глазами в площадку того вагона, где была Ада. Ему видна была ее ярко-алая шляпа, и он знал, что Ада осталась в вагоне и теперь поезд быстро развивает полный ход, уносит ее все скорее и скорее, прочь от платформы, на которой остался ее любовник или ее муж. Поезд сделал маленький поворот, и опять мелькнула красная шляпа; Ада

истерически высунулась из окна, и одно мгновение сердце Латыгина упало: ему показалось, что Ада сейчас бросится из поезда. Латыгин сам почувствовал, что побледнел смертельно, и в его душе промелькнула мысль: тогда и я должен умереть, сейчас же, тотчас же!

Но вот поезд выпрямился, а красная шляпа все еще была в окне... Нет, она не бросилась, она уезжает... Что она думает в эту минуту? Рыдает? Проклинает его? Или презирает? Или смеется?

Ах, все равно.

– Да что же вы стоите, господин! – продолжал грубо кричать тот же голос. – Вы что, пьяны, что ли? Проходите, или я начальнику станции донесу.

Подвернулся мальчишка, относивший письмо. Латыгин выполнил свое обещание и отдал ему еще полтинник. Мальчик поблагодарил. От поезда уже был виден только квадрат последнего вагона и дымок, взвивавшийся из трубы паровоза. Латыгин обежал открывшийся путь, с содроганием думая, что на рельсах могло бы лежать тело девицы в ярко-алой шляпе, но на путях не было ничего,

а платформа пустела, и все, бывшие на ней, расходились равнодушно.

– Ступайте, господин! – настойчиво крикнул Латыгину в последний раз невероятно грубый голос.

Латыгин, шатаясь, повернулся и пошел. Он прошел через буфет и через багажное отделение и вышел на крыльцо вокзала. Туман сгущался, и фонари тусклыми пятнами мерцали словно из-под воды. Прямо перед вокзалом серой громадой в тумане высился корпус гостиницы, где Латыгин только что провел несколько часов с Адой. Дальше лабиринтом крыш, стен, куполов и телеграфных проводов простирался весь город, тот самый ненавистный город, где прошли для Латыгина два мучительных года нужды и унижений, годы, в которых, как золотой мираж, сияли письма Ады, приходившие откуда-то издалека, словно из другого мира. Таких писем больше не придет, таких – никогда! И вот там, дальше в этом лабиринте, где есть пустая улочка, есть покривившиеся ворота, за ними грязный двор и на нем, во флигеле, над погребками, квартира, где теперь две женщины, Лизочка

и ее мать, что-то думают или что-то говорят о муже и об отце.

«Они уверены, что я убежал от них, что я их бросил, – подумал Латыгин, – что я теперь, оставив их во мгле, в тумане, лечу куда-то к новой жизни и к свету, к счастью... Но я стою здесь, в той же самой мгле, в том же самом тумане, и сейчас пойду к ним, к этим женщинам, пойду, чтобы делить их горе и их стыд! А ведь я мог бы, действительно мог бы взять это счастье, пусть, может быть, на несколько недель только, только на несколько дней, но истинное, настоящее лучезарное счастье, какое довелось неожиданно повстречать в жизни... Боже мой! Почему же я от него отказался?»

Мера того, что может вместить человек, была переполнена. Латыгин больше не владел собой. Он не знал, чего ему жалко, и не понимал, о ком его тоска: о себе самом, или об оскорбляемой им жене, или об Аде, над которой он дьявольски посмеялся, – плачет ли он о своем потерянном счастье или о несчастной судьбе жены, отдавшей ему свою любовь, свою жизнь и узнавшей сегодня, что он про-

менял ее на какую-то понравившуюся ему другую женщину, или, наконец, о грубо разбитых, варварски растоптанных надеждах наивной, доверчивой девочки, приехавшей отдать свою жизнь, и свою душу, и свое тело, но только он плакал. Прислонившись к сырой стене вокзала, жалкий «Моцарт» рыдал безнадежно, неутешающими рыданиями, и его слезы, падая на грязный помост, смешиваясь с вечерней сыростью, расплываясь мутной лужей по пальто, и вместе с влагой тумана, оседавшей из воздуха, – стекали на серые булыжники мостовой.

# Примечания

ТАК СКАЗАТЬ (*φp.*)

[^^^]